

ЛЕГЕНДЫ и МИФЫ МИРОВОЙ ИСТОРИИ



МЕСОПОТАМИЯ • ЕГИПЕТ • ГРЕЦИЯ • РИМСКАЯ БРИТАНИЯ
ИМПЕРИЯ ФРАНКОВ • СКАНДИНАВИЯ • РУСЬ
ВЕНЕЦИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА • ИСПАНИЯ

Карина Кокрэлл

Легенды и мифы мировой истории

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6058642

*Кокрэлл, К. Легенды мировой истории: АСТ, Астрель-СПб; Москва, Санкт-Петербург; 2010
ISBN 978-5-17-066149-7, 978-5-9725-1716-9, 978-5-17-066150-3, 978-5-9725-1766-4*

Аннотация

Хотите отправиться в путешествие во времени? Следуйте за автором этой книги, и вас ждет масса эмоций: вы переживете незабываемые приключения, примите участие в опаснейших путешествиях и испытаете роковые страсти.

Самые значимые исторические события описаны таким увлекательным языком, что возникает полный эффект присутствия. Серьезная фактическая информация перемешивается с элементами исторического романа, и этот взрывоопасный микс приправлен сбалансированным соусом из куража и иронии.

Эта книга о глупцах и мудрецах, о взлетах и сокрушительных падениях, о катастрофах и роковых совпадениях, о любви, предательстве, зависти и злобе, о силе и слабости человеческой, и, конечно, о нас, сегодняшних.

Содержание

От автора	4
Однажды между Тигром и Евфратом, или О первых цивилизациях в шутку и всерьез	6
Египет: царство благословенной стабильности	15
«Счастливейшая и божественная царица»	19
Троя: великая и странная война	29
Яблоко раздора	32
Бухта Звучащих Раковин, или История Елены Троянской	52
Тезей	53
Женихи	56
Менелай	58
Парис	60
Расплата	65
Последнее возвращение	68
Британия: женщина на колеснице	71
«Veni, vidi...»	71
Конец ознакомительного фрагмента.	77

К. Кокрэлл

Легенды и мифы мировой истории

*Время эти понятия не стерло,
Нужно только поднять верхний пласт —
И дымящейся кровью из горла
Чувства вечные хлынут на нас.*

В. Высоцкий. Баллада о Времени

*И история становится книгой живых, как труба громогласная,
та, которая вздымает из гроба лежавших во прахе многие веки. Для
этого нужно только время.
Умберто Эко. Баудолино*

От автора

История, вообще-то, — учительница бездарная. Класс ее совершенно не слушает, а она, Клио, стоит в своем хитоне, покусывает стило, делает в классном журнале какие-то записи и словно не обращает внимания на ужасную дисциплину в классе. Знает, конечно, что будут потом нерадивые ученики обливаться холодным потом на экзаменах, но все равно выглядит безразличной, словно ее заявление об уходе уже лежит у директора. Установлено: народы ее уроки игнорируют и экзамены заваливают. И ведь объясняет она доходчиво, и многочисленными примерами все иллюстрирует, ан нет!

А что же отдельные личности? Способны ли индивидуумы усваивать ее уроки? И какова она, Клио, в качестве «приватного» репетитора, может ли научить чему-нибудь тет-а-тет?

Многие уже поняли: жизнь человечества изменяется только внешне, только в смысле технологий — каменный топор, локомотив, фотография, аэроплан, плазменный телевизор... А психологически, внутренне, мы — какими были тысяч десять лет назад, такими и остались, и только слегка поскреби ноготком — проступит все то же, что было и у испанцев шестнадцатого века, и у викингов, русичей, и у древних римлян, и у гомеровских греков. Или у совсем уж древних месопотамцев и египтян.

И как не согласиться с таким знатоком человеческой природы, имевшим возможность наблюдать ее на протяжении очень долгого времени, как мессир Воланд (отдавая себе полный отчет в вымышленности этого персонажа!), который однажды так выразился по одному небезызвестному поводу: «Ну что же... Они — люди как люди. Любят деньги, но ведь это было всегда. <...> Ну легкомысленны... ну что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних»¹. И как созвучны оказываются эти слова князя Тьмы с теми, что приведены в совершенно уж противоположном источнике: «...что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: „смотри. Вот это новое“; но это было уже в веках, бывших прежде нас...»²

¹ Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита.

² Екклесиаст, 1:9—10.

Уже вижу скептически прищуренные глаза современников и поджатые губы, выражающие, мягко говоря, недоверие к такому утверждению. Действительно: а как же прогресс, гуманизм, нравы, смягченные цивилизацией?

O tempora, o mores – «О времена, о нравы!» Так восклицал в отчаянии еще римлянин Цицерон по поводу современного ему общества, и нам кажется, мы понимаем, *что* он имел в виду³. А раз так, то, может быть, понятны станут нам и муки совести единственного в древнем Шумере человека, которого решили пощадить боги, как сказано в самой древней легенде о потопе, – понятны, хоть и случилось все это еще до «начала времен»? И окажется понятен страх Божественной царицы Нефертити перед неумолимой и неотвратимой старостью? И, возможно, не покажутся нам непостижимыми кошмары Менелая, мужа Елены Прекрасной, во время долгой, кровавой Троянской войны, и мы тогда поймем и простим виноватую перед всеми Елену? И, быть может, станет нам ясно, почему слабый монах Константин на далекой парижской улице девятого века нашел-таки в себе мужество встать в полный рост перед лицом варварской силы? И так ли уж непонятно будет нам, почему целый город травил чужачку, как это случилось в истории венецианца Марко Поло? И мы поймем позднюю любовь конунга Рюрика, с которого для нас и началась историческая Русь? И будут странно узнаваемы нами испанские ревнители веры с их убежденностью в том, что их понимание Бога – единственно истинное, и что жестокость и жертвы во имя достижения высшей цели, получается, оправданны?



Та самая Клио

Как нам, сегодняшним, ответить на эти вопросы? Не будем спешить, все далеко не просто.

В наших легендах мировой истории вымысел может показаться реальностью, а реальные факты – вымыслом, и высокая драма окажется рядом со скоморошьям фарсом. В общем – так, как оно обычно и бывает в жизни, в реальности, в истории...

А впрочем – судите сами!

³ Кстати сказать, не всем известно, что повод к этому восклицанию был далеко не абстрактный – оратор требовал у Сената казни своего политического противника, а сенаторы не соглашались. Красноречие Цицерона, как видим, тоже не всегда убеждало.

Однажды между Тигром и Евфратом, или О первых цивилизациях в шутку и всерьез



На заре истории человечество кочевало. Кончался подножный корм, уходили, помахивая хвостами, к новым пастбищам дикие стада – тянулись за ними и люди. Однажды утром просто-напросто затапывали костры, собирали немудреный скарб, сажали в повозки орущих, невыспавшихся детей, и – вперед к новым пастбищам, новым землям, которые наверняка окажутся лучше и обильнее оставленных. Почему-то людям всегда казалось, что там, за краем земли, и трава сочнее, и стада тучнее. В общем, неугомонными оптимистами были. А как иначе?! Конечно, в дороге цивилизации не создашь. Они, однако, ни о какой цивилизации пока не задумывались и потому не очень из-за этого переживали. Вот так и кочевали народы с места на место совершенно независимо друг от друга – по Индии, по Китаю, по Северной и Южной Америке, по Ближнему Востоку, естественно, не догадываясь, как все это потом будет называться.

Но примерно в четвертом тысячелетии до нашей эры людей, кочевавших по тем местам, которые сейчас называются Ираном, Северной Сирией и Южной Турцией, стало томить какое-то странное, смутное желание – тоска, что ли... И не проходила она у некоторых склонных к рефлексии индивидуумов даже после сытного обеда: «Так ли живем? То ли делаем? Сколько можно скитаться?» Тем временем пришли они на берега двух рек. Одна была быстрая, другая – потише, поспокойнее. Остановились, огляделись вокруг. Земля между двух рек. Месопотамия. Что и значит «междуречье»⁴.

Хорошо! Зелено. Пища разнообразная в воде плещется, произрастает, летает и бежит. Распрямили мужчины усталые плечи. И решили, что хватит им дорог, везде уже были. Думается почему-то, что подбили их на такое решение женщины. И, скорее всего, беременные. Надоело ведь им таскаться со скарбом, детьми да повозками в поисках новой пищи – ни тебе помыться, ни детей толком обустроить. А каково рожать *в дороге*, когда повозку на ухабах трясет? А рожать *у дороги*, когда дело затягивается и есть опасность отстать от родного племени? Не знаем, как он выглядел, тот важнейший момент, и какие при этом говорились слова, на каком немислимо древнем языке, но, наверное, сказано было древней женщиной своему спутнику жизни что-то вроде: «Всё, приехали! Дальше никуда не пойдем. Рек рядом – аж две, воды вдоволь. Камней и глины вокруг для строительства – полно. Начинаем-ка, милый, строить какое ни на есть постоянное жилище во-он под тем раскидистым деревом, на котором побольше плодов и откуда вид покрасивее! А колосья можно и самим из земли растить, а не ходить за ними на край света. Вот я уж и зернышки припасла. Попробуем, а вдруг и получится?» Почесал милый в затылке и подумал, что в этом предложении подружки и вправду есть... рациональное зерно.

Не все, конечно, сразу решились на такой шаг. Не обошлось без консерваторов: «Не нами заведено, не нами и кончится. Деда-прадеды кочевали... Да где это видано, чтоб еду самим из земли растить! Как такое и в голову-то могло закатиться?!» Ну и как всегда: о разрушении вековых устоев, забвении традиций, неизбежной деградации... Возможно, и конфликты происходили на этой почве, и даже немалые. А возможно, сторонники традиционного кочевого образа жизни просто махнули рукой на этих безумных «экспериментаторов», бывших соплеменников, и пошли со своими повозками дальше.

А оставшиеся между тем бросили зерна в землю, огородили поля, скотину дикую приручили. И хижины построили, да не кое-как, а покрепче, собираясь жить в них подольше. Деревни получились. Хотя деревни – это все-таки тоже еще не цивилизация.

Но, в общем, главные предпосылки для цивилизации в Месопотамии появились: люди утомонились и обосновались на земле. Потом обнесли деревни свои стенами из камней, спокойнее стало спать по ночам, увереннее себя почувствовали. И о высоких сферах не забывали: посреди деревень устроили святилища – просить, чтобы боги послали приплода и им самим и стаду и здоровья крепкого да полных тяжелых колосьев побольше... Да мало ли чего нужно было у своих богов попросить и земледельцу, и скотоводу, дело-то – новое, рискованное. А через сотню-другую лет деревни эти разрослись, разбогатели и превратились в города.

И помогали древним месопотамцам боги Эллил, и Мардук, и Эа. И остальные небожители. И реки Тигр с Евфратом помогали – разливались ежегодно, оставляя в пойменных долинах ил, а он, может, и выглядел не слишком красиво, но ценность имел величайшую, ибо был наиплодороднейшим: воткни хоть палку – вырастет что-нибудь вкусное и полезное. И, понятно, результат: месопотамцы уже вскоре собирали столько зерна, сколько сейчас родит

⁴ Месопотамия – название, конечно, греческое, и намного более позднее. Как называли эту землю самые первые поселенцы, можно строить догадки, но с точностью узнать невозможно. Поэтому продолжим называть, как привыкли.

самое лучшее канадское поле, да еще и с использованием современных удобрений⁵. Вот какой был тогда ил Междуречья. Да что зерно, тут и орехи, капуста, чеснок, бобы, да мало ли... И рыбы в реках – видимо-невидимо, а еще и птица сама на поля слеталась – поклевать, тут ее, не теряясь, ловили и одомашнивали. В общем, как-то раз осенью все с изумленной радостью увидели, что образовался особенно большой *излишек продуктов питания*.

Вот с него-то все и началось! Ведь если что нашел или наловил, то и съел, и опять голодный, и при этом понятия не имеешь, найдешь ли что или наловишь, допустим, завтра на обед – какая же это цивилизация? Для нее нужна, во-первых, предсказуемость «пищевого потока», а во-вторых, как мы уже сказали, – излишки...

А раз получились во всем излишки – «на самотек» их оставлять никак нельзя. Хранить где-то надо, да еще и в соответствующей таре. Оберегать от любителей поживиться за чужой счет. Учитывать. Распределять. И так вот появилась целая армия людей, как-то незаметно подобранных к излишкам поближе – кладовщиков, стражников, изготовителей тары и замков и – бюрократов-счетоводов. Конечно же, тут как тут – и правитель. Он, думается, с самого начала обещал все распределять по справедливости, но потом как-то забыл и об обещании, и о том, что излишек-то – не его личная собственность, однако напомнить ему постеснялись, да и небезопасно было – уж больно многозначительно лежали тяжелые ладони накачанных стражников на рукоятках мечей (оружейники тоже появились).

Кстати, с излишком продуктов и творческая интеллигенция тут как тут. Пахать, сеять, пропалывать, выполнять другие сельскохозяйственные работы – их не дозовешься, а садятся они вместо этого в теньке, возводят глаза к небесам, мусолят стило или там, тростинку и, высунув от усердия язык, царапают что-то по глиняной табличке. Создают литературные произведения. Но, с другой стороны, пахарю, когда собран урожай, тоже хочется немного отвлечься и развлечься какой-нибудь историей, и нужно, чтобы историю эту кто-нибудь рассказал. Потому смотрели месопотамские крестьяне на интеллигентские чудачества сквозь пальцы: пусть себе царапают, в поле от них толку все равно никакого. А вот правители, хоть и не сразу, но должным образом оценили потенциал творческих работников для прославления своих великих дел. И царапать на табличках мастера – «стилисты» стали уже целенаправленное.



Барельеф с крылатым быком

В общем, то там, то здесь стали возникать в Междуречье города, и, хотя дни были наполнены трудом, земля и скотина расслабляться не давали, но жить становилось и весе-

⁵ Roberts, J. M., Ancient History, Duncan Baird Publishers, London, 2002, p. 83.

лее, и сытнее. И почти каждый день что-нибудь можно было отмечать и праздновать: богов имелось много, да и частных праздников – новоселий, дней рождения, вообще поводов для шумного веселья случалось все больше. Но именно потому и надвинулись на Месопотамию события катастрофические.

Однажды встал и явился в совет богов злой, небритый и совершенно измученный недосыпанием главный бог Эллил. И блеснули над Евфратом молнии, загрохотала словно в медный таз гроза: «Больше так продолжаться не может! Людей расплодилось столько, что шум снизу, словно режут тысячи быков! Всё, насылаю на них болезни – чуму, проказ у, тошноту и головные боли! Может, хоть это их успокоит».

Здесь надо заметить, что именно Эллил и создал некогда первых людей из красной глины. В общем, козь породил, то право имел и наказывать. В таком духе и высказался. А остальные боги – молчат. Согласны, что где-то он и прав, но понимают также, что, если не станет людей – никто не будет приносить им, богам, жертвы, благовония воскуривать, святилища строить. И тогда – как? Но авторитарный Эллил, любитель тишины, ничего и слышать не хотел. Наслал он болезни и уничтожил огромную часть человечества. Стало потише. Но лет через шестьсот все повторилось: опять слишком много стало людей на земле, и снова нарушили они божественный сон. Тогда Эллил опять взялся за свою «мальтузианскую»⁶ деятельность и наслал на людей голод. Страшный это был голод: люди почти вернулись в животное состояние, начался каннибализм, в живых осталось лишь несколько семей. Жертвы богам, естественно, никто не приносил, и святилища пришли в запустение, не поднимался дым от курильниц. А Эллилу хоть бы что – он теперь несколько веков высыпался. Но люди – они такие живучие, ничто до конца уничтожить их не может, впервые это оказалось замечено еще тогда. Размножились они и опять разбудили бога. Тут уж решил он действовать наверняка. Собрал совет богов «среднего звена» и сообщил им, что, хотя и нелегко это ему как руководителю, но должен он признать, что принял однажды неверное решение. И заключил публично: создание человека было его ошибкой, лучше бы из всей той глины сделал он еще парочку необитаемых, но приятных на вид, а главное, спокойных и тихих планет. А вот теперь ситуация явно вышла из-под контроля, и настало время радикальных мер: потоп, потоп, и только потоп!

Наверное, остальные боги, снова привыкшие к обильным жертвоприношениям, обменялись между собой многозначительными взглядами: мол, совсем из ума выжил, старый, что говорит-то, а! Потоп – это ведь самая радикальная мера. Тут уж даже живучему и изобретательному человечеству не выкрутиться. И решил тогда один из богов, Эа, действовать самостоятельно. И выбрал он в городе Шуруппаке для выполнения своей миссии человека по имени Атрахасис (как мы скоро увидим, законченного эгоиста). Тот только что с работ вернулся и у очага присел, усталый. Жена на кухне разными кухонными предметами гремит, обед сооружает, а тут – сам бог Эа является им посреди хижины. В солнечном луче.

И говорит прямо-таки несусветное: чтобы сейчас же начал Атрахасис разбирать свое жилище и строить из него корабль. Причем сообщает бог человеку поразительно точные размеры будущего судна, а также дает рекомендации, обнаруживающие недюжинные познания божества в кораблестроении. И предписывает Эа разместить на корабле всю семью Атрахасиса, а также животных на выбор по паре. Атрахасис, конечно, на колени: «Не умею я корабли строить, да и материалов такую уйму где взять?!» Тогда бог ему объясняет, что дело, конечно, его, но земля вот-вот начнет покрываться такой толщей воды, что под ней скроются и города, и даже самые высокие горы. И люди погибнут все, так что только тот, у кого окажется корабль, построенный в соответствии с приведенными техническими характеристиками, получит шанс на спасение.

⁶ Томас Мальтус (1766–1834) – английский ученый, считавший, что рост населения следует ограничивать.

Делать было нечего. Да и говорящий солнечный луч не мог не произвести на Атрахасиса должного впечатления. Почему именно на него пал выбор бога Эа – не совсем ясно. Уклончиво сообщается, что был Атрахасис мудрым, но доказательств и примеров тому никаких не приводится.

Библейский Ной хотя бы вел праведную жизнь, когда окружающие погрязли в разврате и удовольствиях, что хоть как-то обосновывало уничтожение человечества. В Коране говорится, что Нух (тот же Ной) после сообщения Бога о планируемом потопе вообще из сил выбивался, предупреждая людей и вместе, и поодиночке – о том, чтобы перестали грешить и становились на путь истинный, а они вместо того, чтобы слушать, «затыкали пальцами уши». Ну, тогда Нуху ничего другого просто не оставалось. Однако, заметьте, история Атрахасиса имела место так задолго до написания первых священных книг, что не только книг еще не существовало, но и папирусных свитков, а были только таблички из красной глины.

Что же сделал Атрахасис? Этот избранник богов поступил вот как: он сказал друзьям и соседям, что собирается уезжать. На поиски лучшей доли. Соврал, что, дескать, боги ему что-то здесь не благоволят последнее время (наверное, и глаза его при этом стали такие грустные-грустные, потому что врать убедительно он должен был уметь – может, за то Эа его и выбрал). Но нужна ему, Атрахасису, помощь друзей и соседей в разборке дома и постройке большого корабля, на котором он и уплывет. Особой любовью окружающих Атрахасис, похоже, не пользовался, ибо охотников помочь ему убраться подальше нашлось предостаточно. А может, просто соседи хорошие были? За помощь Атрахасис обещал им прекрасный пир, как только корабль будет построен.

Ознакомившись с размерами предполагаемого корабля, соседи-умельцы, думается, присвистнули. И пояснили, что ни в одной из рек – ни в Тигре, ни в Евфрате – недостатка глубины для плавания такого судна. Громадину эту и с места постройки до реки будет не дотащить. И вопросительно на Атрахасиса посмотрели.

Но Атрахасиса это совершенно не волновало. Мудрец-то знал, что с чем с чем, а с глубиной у корабля проблем не будет... И соседи возражать ему не стали. А может быть, задавать лишние вопросы считалось несовместимым с месопотамскими правилами хорошего тона? Неизвестно.

И вот смотрит этот Атрахасис, как пожилой сосед тащит для строительства вязанку тростника, как соседский малыш с ямочками на толстых щечках, улыбаясь ему беззубым своим ртом, несет какие-то щепочки, помогая взрослым... и сам – *ничего никому не говорит*. Молчит, зная, что и малыш этот, и все, кого он видит сейчас, – *обречены*...

...Пир «избранник богов» все-таки для помощников устроил, как и обещал. Прямо над бывшим его двором натянули парусину, поскольку в воздухе уже пахло грозой. Никто не заметил, что хозяин нервничает, да и что живности в округе тоже поубавилось. Но особого значения этому придавать не стали: может, животные дождь почуяли и попрятались – вон тучи какие лиловые надвигаются. В какое-то оправдание нашего героя надо сказать, что клинописные таблички упоминают-таки муки совести Атрахасиса:

И не находил он места себе во время пира,
И разрывалось сердце его так, что рвало его желчью.⁷

⁷ Myth from Mesopotamia: Creation, The Flood, Gilgamesh, and others, Editor – Stephanie Daley, Oxford University Press, 2000, p. 31 (пер. с англ. – авт.).

Но только ли от мук совести? Впереди ждали неизвестность и одиночество. И – перспектива общаться в обозримом и необозримом будущем только со своей семьей и ни с кем больше. Да еще и размножаться всем в таких условиях!

И теперь всю жизнь (а жить он будет вечно) станут преследовать его страшные сцены подступающей к горлу человечества воды: океана, захлестывающего города, а в ушах навсегда останутся отчаянные вопли обезумевших от ужаса людей, облепивших верхние площадки зиккуратов, мимо которых медленно и равнодушно проплывет его огромный ковчег.

Но это – потом, а пока шумел веселый пир. И тут люди удивились: Атрахасис и его семья, не дожидаясь конца пира, стали загонять по сходням на палубу судна всю свою скотину. Потом попрощались со всеми, поднялись на корабль. А тот так и стоял на берегу. И тут пирующие, не прекращая изумляться, услышали изнутри глухие удары молотка: Атрахасис конопатил дверь. Ему бы тут открыть ее и крикнуть им, внизу, чтоб спасались! Может, еще успели бы что-нибудь... Не крикнул.

А в месопотамскую красную пыль свинцово упали первые крупные капли дождя...

Вода, естественно, потом сошла, и потомство Атрахасиса заселило всю землю. И все опять стало как прежде. Расследование Эллина по поводу утечки информации так ни к чему и не привело, «предательство» Эа не обнаружилось. И сдался верховный бог, ибо понял, что ничего даже ему теперь с человечеством не поделать. А может быть, просто нашел более надежный способ затыкать уши? Неизвестно. Но никаких мер по полному уничтожению человечества более не предпринимал. И опять внизу, на земле, воскурились благовония во славу богов, заревели у жертвенников украшенные цветами жирные быки, снова стало стремительно увеличиваться население. И продолжали строить в Междуречье великолепные города в то время, когда нигде в других землях их еще не знали.

Всем последующим цивилизациям развитие давалось уже несколько легче: можно было перенимать опыт. А вот первым всегда нелегко, всё – самим, всё – непроторенным путем, всё – методом проб и ошибок.

Слово «цивилизация» произошло, как известно, от латинского *civitas* – «город». Получается, раз появились города, появилась и цивилизация. Ну не чудесное ли, необъяснимое совпадение: тысячи лет – и ничего, а тут – на тебе, города! И где? В Месопотамии, в глуши... А потом пошло: почти каждое тысячелетие – по цивилизации, а то и по две. Египет (3100 г. до н. э.), Минийская цивилизация Крита (около 2000 г. до н. э.), потом, чуть попозже – Индия, Китай. Потом – Центральная Америка (около 1500 г. до н. э.). И, что еще любопытнее, все эти первые земные цивилизации зародились на территориях, располагающихся примерно на 30 градусах северной широты. И большинство из них возникло на берегах великих рек – Тигра, Евфрата, Нила, Желтой реки и Инда.

В Междуречье сменяли друг друга представители разных народов – одни приходили, видели, побеждали, другие бежали от несчастий, прибывали на заработки или же просто навещали знакомых и решали остаться. Семиты, хамиты, шумеры, вавилоняне, касситы, хетты, ассирийцы, потом персы, греки, парфяне, турки... «Иных уж нет, а те далече». А вообще, Месопотамия всегда была настолько густонаселенным и многонациональным регионом, что подробная демографическая опись находится далеко за рамками данного рассказа, тем более что выглядели эти народы более-менее сходно: в меру загорелые, не лишённые привлекательности, хотя и не очень высокие, с рельефными орлиными носами, темными волосами и глазами (правда, шумеры несколько отличались – мужчины предпочитали брить головы наголо и, судя по

изображениям, были чуть более предрасположены к полноте). Так что для краткости будем всех их называть просто древними месопотамцами. Тем более что вышеперечисленные народы многое перенимали друг у друга в культуре и языках, да и обмен генофондом осуществляли охотно и постоянно.



Великий потоп (с гравюры Альбрехта Дюрера)

Почему одни народы называют цивилизованными, а другие – не так чтобы очень? Похоже, это – как любовь. Все знают, что, а объяснить не могут. Одни говорят: раз есть организованная религия и обучение юношества, значит, есть и цивилизация. Другие: что цивилизация – это только города, а там, где сплошная деревенщина, – цивилизации быть не может. Третьи: цивилизация – это письменность и запись исторических событий, четвертые – что это соблюдение правил личной гигиены и наличие чистых общественных туалетов, пятые – что это строгий учет всего и неукоснительно исполняемые законы, шестые – что цивилизация – это... В общем, все глубокоуважаемые мыслители напоминают мудрецов из старой суфийской легенды, которые разглядывали отдельные части слона и делали по ним выводы о том, что же такое слон, упуская из виду самого слона. Что же такое цивилизация, мы тоже, как и подавляющее своим незнанием большинство, со всей определенностью заключить не можем. Но, возможно, из всех наших легенд и историй этот вывод сделать сможет сам читатель...

До изобретения письменности вся история была – словно рот, забитый песком. Письменность – Величайшее Изобретение человечества – тоже, кстати, появилась именно в Месопотамии. И как, вы думаете, она появилась? Кто ее изобрел? Мудрецы? Жрецы? Правители?

Ничего подобного.

Вот как было дело.

В одном месопотамском городе подумали: чем каждому гончару иметь свою печь для обжига и постоянно с нею возиться, не лучше ли сложиться, построить одну для всех и

приставить к ней особого человека, который и будет день и ночь ею профессионально заниматься?

Построили.

Приставили.

И каждый гончар стал привозить горшки и ставить в сторонке, стараясь, по возможности, не путать с другими. Ну, вы уже предвидите, что получилось: «Безобразие! Я тебе сколько оставлял горшков? Десять! А ты мне выдаешь – восемь. Где еще два горшка?! Ты что же, такой-растакой, не смотришь, тебя зачем сюда поставили?!» Ну и другие приличествующие ситуации неклинописные слова. А в ответ: «Я что тебе – жрец, прорицатель? Откуда я знаю, какие чьи! Мое дело – за обжигом следить, а уж с изделиями своими сами разбирайтесь. Я один, а ваших... этих... изделий... вон, гляди!» И «обжигатель» (или как там называлась его профессия) простирает руки к своему складу, а там – сотни одинаковых горшков.

Приходит гончар домой несолоно хлебавши, начинает опять в сердцах крутить свое колесо, думая о несправедливости и несовершенстве мира... И приходит ему в голову идея. Какая, вы уже догадались. В общем, на сыром еще горшке рисует он тростниковой палочкой, каких вокруг полно валяется, свое изображение. «Вот пусть попробуют теперь утянуть!..»

Те же действующие лица – через пару дней. Обжигатель: «Ну вот, совсем другое дело. Молодец! Теперь-то уж никто на твои изделия не позарится. Хотя рисунок на тебя и не похож: у тебя нос длиннее и борода лохматее. Гончар ты, может, и хороший, а вот художник...» – «Молчал бы! Тебя сюда приставили не художественной критикой заниматься, а за горшками смотреть, чтоб не утянули. Так что с другими недоделками мои замечательные горшки – не путать!»

Так, попутно, родилась, возможно, и художественная критика.

Тут и другие гончары стали ставить клейма на свою продукцию, кто – себя изображал, кто – звездочки там или барашков, что кому глянулось. Горшков нужно было много, в них готовили, переносили, перевозили, хранили – в общем, использовали, как сегодня мы – ящики или чемоданы. А времени выводить картинку, когда горшков надо было изготавливать очень много, потом уже не было, потому картинки превратились в скорописные символы – клинопись. И «обжигатель» на бракованном сыром горшке тоже начал царапать – столько-то поступило от такого-то мастера, столько-то обработано и т. д.

Так что одновременно с письменностью родились в Месопотамии и математика, и бухгалтерский учет. Но на бракованных горшках писать было не слишком удобно, вот и стали делать специальные плоские глиняные таблички для письма. Но они стоили дороже, так что беднота и деревенщина по-прежнему царапала свои заметки на бракованных горшках.

Писать на глиняных табличках удобно: написал, потом смочил глину, стер написанное и опять наноси клинышки. Однако, если записывали что-то особенно важное, что требовалось сохранить для потомков, глину обжигали в печи.

Однако были и неудобства: таблички при падении бились, да и тяжелыми были, много не унести. Поэтому уже позднее египтяне разработали их «портативную версию» – папирус. Тогда и почта стало можно развивать, послания передавать из города в город.

Портативность – это, конечно, хорошо, однако противопожарные меры вследствие воспламеняемости папируса следовало соблюдать неукоснительно. А как тут уберечься, когда лампы масляные везде, факелы, да и военные действия в непосредственной близости от библиотек – вещь довольно обычная. А глиняные таблички, хотя и требовали особенно мускулистых почтальонов, от огня только крепче становились.

Благодаря им о жизни древней Месопотамии известно больше, чем о намного позднее живших кельтах или славянах – те, во-первых, не имели под рукой таких вечных материалов для письма, а во-вторых – обладали наверняка лучшей памятью, чем месопотамское население, так что записи делать не было им совершенно никакой необходимости. Проблема, где

и как будущие археологи станут находить материал для диссертаций, их тоже не волновала: ищите, копайте, выдумывайте, сочиняйте.

Веселое было время – самое начало первой на земле цивилизации: года, поди, не проходило в Месопотамии, чтоб не изобретали чего-нибудь нового. Оно и понятно: что ни сделай – этого еще не было. В том числе – и бюро патентов и изобретений. Поэтому авторы тех замечательных открытий неизвестны, и гонораров их потомки не потребуют.

Но всё рано или поздно заканчивается.

Плодородные земли Междуречья за тысячелетия эксплуатации были полностью истощены, и, если бы взглянуть с высоты птичьего полета, зеленый цвет везде сменился желто-коричневым. А потом сухие пески погребли под собою и поля, и замечательные первые города древней Месопотамии.

Так что оставим теперь первую цивилизацию. Лиха беда – начало! Все самое интересное – впереди!

Египет: царство благословенной стабильности



Четыре с половиной тысячи лет египтяне были самыми счастливыми людьми на земле. Четыре с половиной тысячи лет порядок вещей был вечным и неизменным, стабильность – абсолютной. Три времени года – Разлив, Посев, Урожай. Божественный фараон, правящий Верхним и Нижним Египтом, а также Небом. Был он родственником главному богу Осирису и остальным богам, а, как известно, родственников не обижают. В большинстве своем были фараоны людьми для своего народа терпимыми, без садистских наклонностей или явного сумасбродства. Авторитарные правители, но не законченные тираны. Время от времени, правда, любили потаскать за вихры дикие племена на юге, чтобы показать, кто хозяин, на львов поохотиться в пустыне или с тростниковых лодок гиппопотамов копьями побить. Ну еще имели обыкновение жениться на дочерях и сестрах, что, конечно, вносило полную путаницу в родственные связи – гадали, наверное, отпрыски, как называть отца: папой или все-таки дядей? Но, с другой стороны, жена главного бога Осириса была также

его сестрой, а это святое, да и драгоценную царскую кровь разбавлять – бог солнца Амон-Ра разгневается, потом проблем не оберешься.

Города в Египте сильно отличались от месопотамских. В тех – шум, гам, торг, глашатаи, срываая глотки, читают царские указы... А вот у египтян в городах все было тихо и чинно, потому как в городской черте – только дворцы и храмы, и населяли их поэтому, в основном, правители и «служители культа», а народ жил поодаль, на природе, в небольших деревнях у реки. И даже знать предпочитала селиться в поместьях с видом на Нил. В города приходили на праздники или по какой-нибудь религиозной необходимости. Религия у египтян тоже была спокойная, практичная, домашняя, без пламенных пророков единственно истинного Бога, без фанатиков, без религиозной вражды. Да и как тут выбирать, когда богов – больше двух тысяч?

В нильскую воду стремительно, как торпеды, врезаются крокодилы, фыркают и нежатся огромные бегемоты, в прибрежных плавнях гнездится множество гусей, цапель и цесарок, на водопой приходят маленькие газели с глазами обиженных девочек, на полях колосятся злаки, в садах наливаются спелостью гранаты и виноград... Такое многообразие вокруг – как же с этим всем одному только богу управиться? Так, наверное, думал древний египтянин.

В общем, жизнь была довольно разнообразная. Да и страдания рабов, строителей пирамид, мы, скорее всего, сильно преувеличиваем, во всяком случае в египетских записях нет никаких сведений о том, что рабы возмущались, бастовали⁸, однако есть подробные списки, сколько пива подвозили им ежедневно, сколько вяленой рыбы и другой провизии, а также сколько тысяч женщин нанято было для стирки, готовки и оказания строителям пирамид других услуг. Правда, сохранилась одна древняя запись, что как-то раз мужественные строители возмутились: им не подвезли сурьмы для глаз, нечем стало «стрелки» рисовать. Археологи предполагают, что такой макияж, возможно, заменял солнечные очки, отражая яркое египетское солнце, но, возможно, строителям хотелось даже на работе хорошо выглядеть.

Чистоту не просто очень любили – боготворили. Постоянные омовения, постоянное мытье посуды и стирка одежды... Ради гигиены первыми в мире решили обрезать мальчикам крайнюю плоть, ибо, по мнению написавшего об этом Геродота, «предпочитали чистоту красоте». По причине любви к гигиене также не ели свинины, потому как свинью считали самым нечистым животным. Лечиться обожали. Врачей самых различных профилей в Египте было великое множество, и все они рекомендовали раз в месяц полное очищение всей пищеварительной системы.

К иностранцам египтяне относились подозрительно: эллинов считали варварами и всё, что соприкасалось с ними, нечистым, на что и посетовал тот же Геродот. И добавил еще, что «эллинские обычаи египтяне избегают заимствовать. Вообще говоря, они не желают перенимать никаких обычаев ни от какого народа».

Даже ветер в Египте, говорят, в те времена стабильно и постоянно дул только в одном направлении, только с севера на юг. Поэтому, если египтянин плыл вниз по течению, то и грести ему нужно было только слегка, а на обратном пути он ставил парус и обозревал живописные окрестности, что способствовало созерцательности и формированию философского отношения к реальности.

Правда, было все же за две тысячи лет египетской цивилизации (с 3000 по 1075 г. до н. э.) два периода разброда, вражеских вторжений и гражданских войн.

Но во время таких смут в дело вмешивались в итоге влиятельные жрецы – устраняли слабоватого фараона, подыскивали «сильную руку» и стабилизировали ситуацию. Очеред-

⁸ Хотя не исключено, что это предпочитали просто не афишировать в интересах поддержания имиджа стабильного государства.

ной подходящий фараон с хорошо развитыми мышцами и четкой идеей нормализации обстановки неизменно появлялся. Сначала палкой в этой самой сильной руке он наводил порядок внутренний, а потом, с той же палкой, но уже на колеснице, – внешний. А рассказы о тех далеких страшных временах передавали потом египтяне из уст в уста в назидание юношеству. Дабы знали потомки, что будет с теми, кто отступит от древних традиций: начнется страшное Время Перемен⁹.

И оба эти периода вместе взятые длились где-то около двухсот пятидесяти лет, что в процентном отношении – совсем неплохой показатель стабильности по сравнению с бурной историей некоторых других стран мира. Остальные тысячу шестьсот лет в стране царили тишь да гладь.

И праздники в Египте любили. Вот, например, в священном городе Абджу (Абидосе) раз в год устраивали веселую и занимательную мистерию – по легенде об убийстве богом тьмы и зла Сетом брата своего Осириса с последующим воскрешением Осириса из мертвых. Так и видится: плывут по Нилу на лодках музыканты, певцы, слышится быстрый гортанный говор толпы на берегу, звучат аплодисменты, перестук кастаньет¹⁰, звон браслетов, смех. Медленно движется украшенная ладья с тронем под роскошным балдахином, и восседает на нем божественно красивая женщина в очень узком красном платье – богиня Исида... В мистериях таких принимали участие и аристократы, и крестьяне – кто на стороне Осириса, кто на стороне Сета, на реке устраивалось потешное сражение и, наконец, усталые, довольные и мокрые египтяне расходились вечером по домам.

Древнеегипетские крестьяне были смуглыми и веселыми. Во время разлива Нила свободного времени у них была масса, и одни празднества сменялись другими. Селян окружала прекрасная природа, постоянно подпитывавшая воображение, так удивительно ли, что именно здесь такого уровня достигли прикладные искусства! Когда разливался Нил, казалось, что залит весь мир – словно острова в океане возвышались над водой города и деревни (все они строились на насыпных холмах). И делать народу было нечего – только сидеть и ждать, пока сойдет вода, и смотреть на небесный свод. Так попутно развивалась и наука астрономия.

А когда приходила пора сеять, даже за плугом и бороной ходить им было не нужно: просто разбрасывали по влажному илу семена пшеницы, ячменя, а потом прогоняли через поле стадо свиней, чтобы те втоптали семена в черный, жирный, теплый ил. Сами – только шли за стадом с хворостинкой, перебрасываясь шуточками.

Случались, правда, порой неурожаи, когда река приносила мало ила, но такое происходило редко.

И даже собственную смерть египтяне умудрялись праздновать. Для знатной семьи не было большего развлечения, чем пойти в выходной – посмотреть, как идет строительство семейной гробницы. Пока отец деловито инструктировал строителей и художников, а дети мутузили друг друга, ссорясь, кому достанется более расписной саркофаг, мать, глядя на их возню, только счастливо улыбалась: загробное будущее обещало быть замечательным. И после смерти египтяне собирались попасть в места, которые напоминали бы родные города и деревни, только уже у Реки Мертвых. Их загробный мир был залит солнцем, по воде там тоже сновали суденышки с богами и приплывали в гости родные с подарками. Идиллия...

⁹ Как раз во время второго периода и случилась цепь очень неприятных для египтян событий, произошедших в результате дискуссий Моисея и упрямого фараона, отказывавшего израильскому народу в праве свободного передвижения. События, как известно, помимо прочих, включали: превращение воды Нила в кровь, нашествие жаб и целого ряда отвратительных насекомых и, наконец, смерть всех египетских первенцев.

¹⁰ В египетских гробницах обнаружены деревянные кастаньеты, так что это – изобретение египтян.

Хотя Геродот сообщает об одном будоражащем факте, который наводит на мысль, что идиллическое египетское существование все-таки не обходилось без некоторых извращений: красивых умерших женщин, например, передавали бальзамировщикам только через несколько дней, когда тела были уже хорошо тронуты тлением – в целях предотвращения имевших место отдельных случаев... сокоупления «представителей обрядового сервиса» с особо привлекательными покойницами. Но Геродот был чужестранцем, к тому же эллином, информацию эту (сам признавался) получил от каких-то жрецов, имен которых не привел. А может, жрецы эти были не всем в Египте довольны, тайно диссидентствовали, а грек и рад был очернить Египет? Неспроста ведь недолгоблюдали в Египте чужаков...

Египтяне достигли своего идеала и менять ничего не хотели. От шумеров и вавилонян они знали, что на лошади или верблюде можно передвигаться верхом, но сами громоздиться им на спины не решались. Ни на фресках, ни среди росписей гробниц – ни одного египтянина на лошади. На осликах иногда ездили, когда очень уж уставали, но чтобы верхом на коня?! Помилуй, Амон-Ра, ни за что! Самое большее, на что их хватило, это запрячь лошадь в колесницу, да и то – только в стратегических целях. «Пращурь жили без этих глупостей, и мы проживем!»

Разливался Нил, оставляя в пойме плодородный ил и сочную зелень, приносили в храмах жертвы жрецы, перевозили по реке на крепких баржах статуи фараонов; в Фивах и Мемфисе скрипели стилем в храмовых школах ученики писцов; в укромных местечках собиралась ночью на планерки «организованная преступность» – расхитители гробниц, бич всех фараонов и знати; маршировали на плацу рослые нубийские гвардейцы в форменных набедренных повязках. И работала в пирамидах и мастабах¹¹ знатных египтян, к будущему услаждению не только заказчиков, но и преступных сердец презренных расхитителей гробниц, многочисленная армия художников и скульпторов. Они или стучали молотками по бронзовым зубилам, или тихо рисовали яркими красками двухмерные, спокойные, чуждые мирских страстей образы. Художники следовали раз и навсегда установленным канонам: никакой перспективы, никакой трехмерности, все изображенные смотрят только в одну сторону и шагают в одном направлении. И – чтобы никакого реализма и никаких резких движений, и во всех красивых миндалевидных глазах – только покой и удовлетворенность. Менять что-либо в канонах было опасно, да никто об этом и не помышлял.

Именно в этой неизменности и крылся секрет египетского счастья. И оно тоже было неизменным. Пока не появился фараон-еретик Ахенатон (Эхнатон), попытавшийся расшатать устои. Само ненавистное имя его потом проклинали, и от него отказались даже родные дети. Однако именно в его правление небывало расцвело египетское искусство. А новая столица фараона, город Ахетатон («Горизонт Атона», современная Амарна), была до самого разрушения ее возмущенным народом прекраснейшим из городов, какие когда-либо видел мир.

Женой Ахенатона была царица Нефертити – Совершенная Женщина. И мы знаем ее благодаря художнику – скульптору Тутмесу...

¹¹ *Мастаба* – ступенчатая египетская гробница.

«Счастливейшая и божественная царица»

Тутмес был силен. Он ударил сына неожиданно, тот не посмел остановить его руки. Сын выпрямился с горящей щекой и поглядел на отца с ненавистью. И Тутмес сразу пожалел о том, что сделал.

В углу мастерской валялась искусно сделанная статуэтка – колесница. Колесницей прaviла обезьяна – в короне Верхнего и Нижнего Царств. И рядом стояла другая обезьянка, поменьше, с женской грудью.

Тутмес немного успокоился. И сказал примирительно:

– То что ты изваял – оскорбление фараона и преступление; твое счастье, что ее нашел я. Сработано хорошо, обезьяны твои – как живые, но не трать талант попусту...

В стране Кемет¹² больше не казнили с пролитием крови, вместо этого преступников опускали на деревянных платформах в каменные колодцы, которые закрывали крышкой, и преступники умирали там от тишины, одиночества, истощения и безумия. Потом платформу поднимали, убирали останки, окатывали нильской водой пропитанные мочой, экскрементами и смертью доски и сажали на них следующего несчастного.

Сын молчал. Щека пылала. На полу в известняковой пыли валялись рассыпанные финики из опрокинутой тарелки. Тутмес понял, что сейчас обрел врага.

– Это то, что я вижу, – тихо произнес сын. – Ты сам говорил, что художник должен изображать вещи такими, какими их видит. Вот я и вижу их обезьянами.

– Мир держится на почитании фараона. Нефертити и Ахенатон дали нам все, что мы имеем.

– Вот оно что... Я-то думал, что ты просто слепец и не замечаешь ничего, кроме своих скульптур... А ты – продался. Я решил уйти от тебя, уйти из дома.

Тутмес молчал в глубокой задумчивости, а сын запальчиво продолжал:

– Как ты можешь?! Ты что, забыл? Племена хабри напали на наши земли с востока, и все знают, что наши военачальники молили о подкреплении, а что ответил *он*? Он послал им молитву богу Атону о том, что проливать кровь – противно человеческой природе! И войско было уничтожено. Наше войско! Только неожиданная смерть предводителя хабри спасла страну от полного завоевания. Племена из страны Асур¹³ могут снова напасть в любой момент. И мы не можем даже защитить себя.

– Не нам судить фараонов и военачальников. Они делают свое дело, а наше дело – работать зубилом.

– Я ухожу из твоего дома, отец. Я не хочу делать скульптуры для *них*. После смерти матери меня ничто здесь не держит, и я не хочу здесь оставаться, когда в твоей мастерской на меня смотрят *ее* глаза. – Он гневно метнул взгляд в угол. Там стояла на подставке каменная раскрашенная женская голова. И ее губы чуть улыбались. Царственный изгиб шеи, синий головной убор главной жены фараона... Казалось, она прекрасно слышит их разговор и именно потому улыбается.

– Да, я говорю о тебе, проклятая обезьяна! – крикнул он каменной голове. – О тебе и твоим Ахенатоне, «Духе Атона», изменившем даже собственное имя, данное ему матерью!

Подросток уже кричал камню. Он был зол. Он ожидал, что отец будет просить его остаться. И его ранило, что Тутмес не стал этого делать.

Тутмесу захотелось еще раз хлестнуть его по щеке, чтобы остановить эту истерику. Но он сдержался.

¹² Одно из названий Древнего Египта. Дословно – «Черная», что происходит от цвета плодородного ила.

¹³ Совр. Сирия.



Знаменитый бюст Нефертити скульптора Тутмеса

– Сын, прошу тебя, замолчи, – сказал он тихо. – От куда у тебя все это? Тебя покарает Атон...

Подросток зло расхохотался:

– Как может покарать меня тот, кого нет?! Ты видел хоть одну его статую? Ах, изображать бога запрещено! Значит, ошибались все наши почитаемые предки. Ты хоть раз сам возносил молитву этому неведомому Атону, был хоть раз в его храме? Нет, обращаться к Атону может только семья фараона! А остальные египтяне должны молиться только самой этой семье. Больше нет храмов, кроме храмов Атона. И по улице нельзя пройти, не наткнувшись на бывших жрецов бога Амона-Ра – они просят подаяния, а священные жертвенные быки умирают от старости, потому что в храмах запрещено любое пролитие крови, в жертву – только дары земли! Я не боюсь гнева бога, который удовлетворяется горсткой гниющих на жертвнике гранатов и фиников! И теперь, из-за этой обезьяны, моя мать никогда не попадет в Поля Иару¹⁴, потому что сохранять тело теперь тоже запрещено! На улицах рядом со жрецами просят подаяния уважаемые бальзамировщики из Города Мертвых. Разве ты не видишь, что творится вокруг? Все мы после смерти превратимся в гнилые финики!

Тутмес молчал, и это еще больше распаляло сына.

– Любой мальчишка в школе писцов знает: если не бьешь ты, то бьют тебя! А ты... Ты никогда не любил мать. Она умирала, а ты ваял *эту*, день и ночь. Даже не был у постели матери, когда ее Ка¹⁵ вернулась в нее, а проводил все ночи здесь, с *этой*!

Отцу нечего было ответить.

– Ты – быстро забыл мать. Тебе вообще никто не нужен. Никто!

Сын замолчал.

Мгновение Тутмес боролся с желанием обнять его – в сущности, совсем мальчишку – взъерошенного, с горячей щекой, попросить у него прощения. Он тогда и вправду, словно одержимый заказом царицы Нефертити, совсем забывал о больной жене. Иногда, отклады-

¹⁴ Поля Иару – рай у древних египтян.

¹⁵ Ка – вечная душа египтянина, покидает тело в момент рождения и возвращается в момент смерти.

вая молоток, он слышал ее доносившийся до мастерской надрывный кашель, но она болела давно, и он привык к нему, как привыкают к скрипу двери.

– Я ухожу от тебя, – повторил сын.

– Куда же ты пойдешь, глупый?

– В *Нут-Амон*¹⁶, *настоящую столицу*. К Хабрамону, он звал меня в свой последний приезд к нам. Ахетатон – проклятый город. Хабрамон прав. Отсюда надо бежать.

Еще в начале тирад сына Тутмес понял, откуда ветер дует. Его брат Хабрамон был в Нут-Амоне жрецом храма Осириса, и теперь храм закрыли и осквернили, превратив в хранилище зерна и плодов. Хабрамон приезжал в новую столицу Ахетатон, чтобы найти источник дохода, достойный своего прежнего статуса. Хабрамон знал, что Тутмес получает от семьи фараона много заказов, процветает. Бывший жрец имел преувеличенное представление о влиянии брата при дворе фараона и надеялся на его содействие. С Хабрамоном приезжала его прелестная дочь Тэя. Но Тутмес мог предложить брату только место помощника в своей мастерской – готовить камни, точить зубила. Расстались они враждебно. Хабрамон уехал возмущенный, даже не попрощавшись.

Приезд брата пришелся как раз на время, когда Тутмес был весь поглощен выполнением заказа Нефертити. Даже ел в мастерской. Теперь он понимал, что в словах сына есть доля истины. Действительно, жизнь в стране стала другой, непривычной. И люди не понимали, зачем нужно что-то менять, зачем нужен этот «единый истинный» Атон, когда был же Амон-Ра, прежний бог солнца. Старым богам продолжали молиться тайно, приносили жертвы – так, чтобы никто не знал, и просили у них прощения за то, что происходит в стране. Но так сильна была покорность фараону, вера в необходимость повиноваться ему, что люди старались притвориться верующими в странный диск – Атона, который был раньше только одной из сущностей бога солнца Ра.

Порой Тутмес вспоминал, как, еще подмастерьем, он проводил целые дни, рисуя тысячи и тысячи совершенно одинаковых воинов армии фараона, застывших в одной и той же позе – когда впервые ему пришлось ваять Амонхотепа III, отца Ахенатона, и Тэю, его «мудрую и божественную» мать, он сначала обрадовался, а потом понял, что радовался преждевременно. В этих изображениях все было рассчитано до мелочей: ему принесли специальное руководство, перечисляющие размеры изображений – их ушей, рук, ног, величины голов «высочайших статуй». Тутмес чувствовал себя ремесленником. Не художником, а чем-то вроде гончара – горшки большие, средние, маленькие, высокие, низкие... Лицо фараона не должно было походить на его настоящее лицо, требовалось обобщенное изображение, вселяющее в подданных сознание собственного ничтожества. Взгляд фараона должен быть обращен в вечность, и поза его – всегда одна и та же, – выражать только покой и ничего более.

При Ахенатоне все изменилось. Людей стало можно изображать такими, какими они были на самом деле. Новому фараону нравились работы Тутмеса именно за то, что статуи у него получались словно живые. Многие скульпторы и художники теперь старались работать в этой же манере, но лучшим все равно оставался Тутмес.

Во время приезда Хабрамона сын много времени проводил с ним и его дочерью. А после их отъезда озлобился, ошетинился, стал дерзок, невыносим. Тутмес даже почувствовал теперь облегчение – от того, что не надо будет больше жить с ним под одной крышей. Мысль, что сын чувствует себя ближе к Хабрамону, чем к нему, отцу, больно резанула, но быстро ушла, оставив саднящий порез. Погруженный в воспоминания, скульптор не заметил, как сын плюнул в каменную пыль на полу и вышел из мастерской.

А еще Тутмес подумал, что сын вскипел бы еще больше, узнав, что голову царицы отец давно закончил и отдал во дворец, а в мастерской стоит копия, сделанная им *для себя*.

¹⁶ Нут-Амон – древнеегипетское название Фив.

Слишком прекрасной и живой была эта каменная женщина, чтобы отпустить ее навсегда. Именно ее и ваял он, когда умирала жена.

Тутмес подошел к каменной Нефертити, провел рукой по ее лицу, приблизил к нему свое. Глаза царицы, полуприкрытые, словно в момент страсти, манили как живые. И Тутмес прижался вдруг губами к каменным, чуть припухлым, таким живым губам своего творения. Он понял, что сумел создать Женщину и Божество в одном образе. И понял, что сошел с ума.

Он вышел на воздух. В большом саду уже становилось темно, цикады смолкли.

Вдруг послышались тихие голоса.

Разговаривали его сын и служанка, молодая разбитная миттанийка Аихеппа. У нее была огромная грудь, как у многих женщин ее племени; считалось, что нет лучших кормилиц. Этот народ погнало с севера воинственное племя хабри. Раньше фараон защищал своих союзников, но теперь все изменилось.

Сын со служанкой сидели, обнявшись, на траве у воды, за кустами вербены. Время от времени в их голоса вривался крик далекой ночной птицы.

– Скажи, ты спала с моим отцом?

– Может, и спала, тебе-то что? Я не рабыня, я сама себе хозяйка.

– Ну ладно, какая разница... Я навсегда уезжаю в Нут-Амон. У меня там друзья, которым тоже не нравится то, что эти обезьяны сделали с нашей страной. Нас поддерживают жрецы Амона-Ра. Ведь, когда закрыли его храмы, они потеряли всё. Ты придешь в мою постель в последний раз?

– Чего я там не видала! А как же твоя прелестная сестренка, от которой ты без ума?

– Сравниваешь ее, воплощение Исиды, с такой сисястой миттанийской шлюшкой, как ты сама?

Аихеппа фыркнула, потом спросила:

– А что говорит о твоих задумках отец?

– Я ненавижу его так же, как фараона, а может, еще сильнее. Пусть хоть убьет меня. Он совсем сошел с ума. Как будто я не знаю, что он сделал вторую голову той шлюхи для себя!

Аихеппа засмеялась:

– Все-то у тебя шлюхи! Но я вот что тебе скажу: скоро только статуя от этой красавицы и останется. У меня подружка есть во дворце, тоже миттанийка, в услужении у Тадухеппы, одной из младших жен фараона, так вот она рассказала...

– Развелось вас, миттанийцев, что водяных крыс! И что она тебе рассказала?..

– Страна ваша – богатая, от вас не убудет. Ну так вот, кончилась у Ахенатона с первой царицей любовь. Сам знаешь: сколько лет, а она все одних дочерей рождает. Уже шесть. С червоточинкой красавица-то. А в опочивальне теперь в царицах другая его жена – Тадухеппа, тоже наша кровь, миттанийская. И уже – беременная. Уж эта ему точно сына родит.

– Так придешь ко мне?

– Нет, не приду. На Реке¹⁷ сегодня ночью весело будет. – Она понизила голос: – За городом в одной укромной излучине жрецы будут тайно праздновать воскрешение Осириса. Прямо под носом у жрецов нового бога! Разлив ведь скоро. Смотри, Звезда Собаки уже взошла¹⁸. Все боятся, что Река опять не принесет ила и не будет урожая, тогда – опять хлеба будет мало. И парни придут на праздник – не тебе чета. Повеселюсь.

Тутмес вдруг почувствовал озноб. Он вернулся в дом и попросил служанку принести вина.

¹⁷ Египтяне называли Нил просто Рекой или Великой Рекой.

¹⁸ Сириус. Его восход предвещал разлив и праздновался как начало нового года.

* * *

...Нефертити еще не проснулась, но уже поняла, что этот проклятый сон – вещий.

Ей снилось, что она родила наконец сына. И все кричат: «Мальчик! Царица родила мальчика!» Она с замиранием спрашивает: «Правда? У меня... сын?» – «Сын! Сын, божественная царица!» И запеленатого ребенка уже подают Ахенатону. Она смотрит на лицо фараона, ожидая восторга. Но в его глазах – растерянность и ужас! Она сама берет на руки ребенка и... из свертка на нее смотрит уродливая, кривляющаяся обезьянья мордочка. Точно такая, какую она видела однажды, когда группу бродячих чернокожих шутов с верховьев Реки привели во дворец развлекать их семью. Вдруг обезьяна выпрастывает крошечную черную ручку с острыми когтями и, отвратительно вереща, начинает царапать ей лицо. Но она не чувствует боли, а на лице остаются не царапины, а морщины. Она смотрит на окружающих, и те вдруг начинают отдаляться. А Ахенатон смотрит на нее с невыразимым отвращением. И вдруг она видит свое отражение в большом серебряном зеркале на стене. И не сразу понимает, что это – она. Что это – ее отражение: подобное высохшей мумии, черное, само похожее чем-то на обезьяну. Это – она, земная богиня Нефертити...



Фараон Ахенатон и царица Нефертити с дочерьми. Древнеегипетское изображение

Нефертити села на постели, отбросив покров из тончайшего льна, теперь смятый и потный (последнее время она совершенно не переносила жары и сильно потела), и увидела, что солнце – уже высоко. За много лет она ни разу еще не проспала восход солнца, священное время для вознесения молитвы Атону. И муж не прислал за ней. Еще один дурной знак. Значит, Нефертити больше – не Божественная Жена¹⁹... Встав с постели, она подошла к огромному серебряному зеркалу на стене. Оно жестоко отразило раздавленные бедра, слегка отвислый после шести родов живот, ляжки, как у откормленной цесарки. И лицо. Отяжелевшее, «поплывшее», с очертаниями, потерявшими четкость, выразительность – припухлости старости в углах рта, мешки под глазами... Даже шея стала короче. В последнее время она нанимала лучших умелиц, чтобы смешивали ей самые дорогие мази и притирания – из толченой скорлупы крокодильих яиц, масла кокосовых орехов и плаценты редчайших антилоп

¹⁹ Божественная Жена – официальный титул супруги фараона.

из верховьев Реки в Черной Африке. Но не помогало ничего. Боги умирают, не покрываясь морщинами. Значит, всё – обман. Она никогда не была богиней. Может быть, это потому, что она никогда не верила по-настоящему в Атона – Бога Единственного, Праведного и Лучезарного?

Из окна спальни, как на ладони, виден был священный и прекрасный город Ахетатон. Еще двадцать лет назад здесь была пустошь, а сейчас поднялись дворцы, облицованные белоснежным полированным известняком, храмы теплого, желтоватого цвета со стенами, покрытыми прекрасными росписями. Высились вековые пальмы, перенесенные сюда из оазисов, – некогда было ждать, пока вырастут посаженные вновь. Ахенатон хотел создать город-рай во славу Атона незамедлительно, теперь же. И он создал его.

Нефертити родила фараону шесть дочерей. И с рождением каждой дочери она видела, как мрачнее и мрачнее становится муж. Кто будет воплощением Атона после него? С этим фараон смириться не мог. Он посвятил свою жизнь Атону. Бог был для него более важен, чем его семья, чем вся страна, чем даже его жизнь.

Еще дед его Тутмос заронил первые зерна этой странной сумасшедшей идеи – о мире, в котором не будет крови, войн, насилия и зла, в котором племена перестанут ненавидеть друг друга и примут друг друга как братьев, молясь единому богу, дающему жизнь всему живущему – богу нового мира, в котором будут жить мудрые и добрые люди. И кто теперь как не он, владыка Верхнего и Нижнего Царств, правитель самого древнего и могущественного народа, может претворить эту великую идею в жизнь? Для этого нужно только, чтобы люди прониклись новой идеей, перестали поклоняться каменным и нарисованным идолам рек, урожая, небес, а стали бы поклоняться ему и его Божественной Жене, которую он избрал, а они-то вдвоем уж сделают все, чтобы Атон осенял их владения своим благословением всегда. Для этого нужны начала мужское и женское. Но мужское Божественное Начало более важно, ибо без него женское начало останется пустым и продолжение всего живого станет невозможно.

Последние годы Нефертити все явственнее понимала, что почитание единого бога сделало фараона одержимым. Если бы она знала слово «фанатик», она употребила бы его, но этого слова не было в ее языке, так как не было еще в нем и устоявшегося понятия единственно истинного бога, без которого не бывает и фанатиков.

Везде теперь красовался солнечный диск, протягивающий лучи-руки к изображению семьи Ахенатона. Изображения прежних богов уничтожались. Ахенатон приказал уничтожить изображения даже Амона-Ра, Осириса и Исиды, сколоть со всех надписей часть священного имени даже собственного отца, фараона Амонхотепа, чтобы и упоминания Амона не осталось нигде. Ему было уже неважно, что этим он обрекает отца на жалкое прозябание в загробном мире, ибо имя – священно, и, если хотя бы часть его нарушена, душу будет вечно жевать огромными желтыми зубами страшный Пожиратель – полулев-полугиппопотам. Все дни фараон проводил в храме своего бога – в святая святых, куда не мог быть допущен никто, кроме него, Нефертити и их дочерей.

Не стало прежних привычных праздников. Разрушались заброшенные храмы. Толпами пробирались везде оставшиеся не у дел жрецы развенчанных богов – Ахенатон резонно считал, что жрецы сосредоточили в своих руках слишком большую власть и богатства, и без колебаний отнял у них и то и другое.

А Нефертити теперь ненавидела свое тело, с каждым днем все больше терявшее признаки божественности. Не иначе, лежит на ней проклятие за недостаток веры в Атона: столько лет не родить мужу сына! И проклятие – не только на ней, оно лежит и на ее дочерях: Ахенатон, отчаявшись, сам взял в жены их дочь Меритатон и попытался зачать наследника с собственной дочерью, но тщетно. Нефертити знала, что так нужно, что это необходимо,

но в такие ночи приказывала воскуривать дым сжигаемых семян Черного цветка, который растет только в истоках Реки, – этот дым сводит людей с ума, если вдыхать его слишком много. Если же немного – он просто прекращает всякие мысли. И хорошие, и тяжкие...

Словно в насмешку, у дочери тоже родилась девочка. Честолюбивая Меритатон страстно хотела стать Божественной Женой вместо матери, но после рождения девочки Ахенатон просто перестал считать ее супругой, и она опять стала только его дочерью. А Меритатон с тех пор почему-то винила во всем Нефертити и как-то раз бросила матери в лицо страшные слова ненависти, которые были словно прорвавшийся гноем нарыв.

Нефертити видела и другие сны – в них прекрасная столица Ахетатон лежала в руинах. И просыпалась она одна – на одинокой теперь постели во дворце Мару-Атон. Этот дворец фараон построил для нее, когда-то Божественной Жены, а теперь – брошенной стареющей женщины. Теперь с ее мужем спит молодая ширококостная миттанийка с упругим телом, которая, говорят, уже понесла. Новая наложница в постели мужа – это много раз бывало и раньше, но все его египетские наложницы рожали одних только девочек. И ни одна из них не была для Нефертити угрозой – пока все молитвы в храме Атона она и муж совершали вместе.

Ужас от того, что все кончено, она пережила не тогда, когда муж не пришел к ней ночью, оставшись с миттанийкой. Настоящий ужас облил ее жаром именно в то утро, когда Ахенатон впервые не прислал за ней жрецов на ежедневную совместную молитву Восходу солнца. Не прислал он их и на следующий день и не прислал больше никогда. Она пришла к нему сама. Нефертити смотрела на ласковое, нежное лицо мужа, на чувственные губы, ямочку на подбородке – все такое знакомое, родное. Он подошел к ней, обнял, она рванулась к нему всем своим существом, а он поцеловал сочувственным, дружеским поцелуем и почтительно отстранил. А когда она недоуменно спросила, что происходит, он ласково попросил ее уйти и отныне молиться Атону в своих покоях.

Теперь ей казалось, что даже рабыни относятся к ней с почтительным злорадством. Со стороны все выглядело как всегда, но она знала, что все – изменилось. Дочери ее не посещали. Да особенной близости с ними у нее никогда и не было. Они стали вечным напоминанием, что даже последняя крестьянка или рабыня, способная рожать сыновей, состоятельнее Божественной Нефертити.

Из всех своих дочерей она сразу полюбила только одну, Макетатон. Дочь умерла одной страшной ночью, не дожив даже до восьмого в своей жизни разлива Реки. Ее тело покрыли нарывы, она металась в жару и молила мать о помощи. Тогда Нефертити, просидев у ее постели без сна несколько ночей, впервые почувствовала бессилие и усомнилась в своей божественной природе и в милостивом боге Атоне.

Как скорбел тогда вместе с нею муж, какими родными и близкими стали они во время этой скорби! Однако Ахенатон отказывался удовлетворить ее самую слезную просьбу – забальзамировать дочь. Он просто посадил тогда жену перед собой, взял за руки и сказал: «Из Полей Иару не возвращался еще никто. Потому что никто там и не был. Это – глупые, отжившие предрассудки. Нам не нужно набивать тело соломой, а потом покрывать смолой дерева *бакк*, чтобы в тело вернулась душа. И Атон позаботится о душе того, кто никогда не сомневался в нем. Поверь мне».

А она больше ему не верила. Но молчала. И плакала, и жадно вдыхала черный дурманящий дым курений. Она писала на стенах своих покоев имя Макетатон и прикрывала написанное занавесями, чтобы не видел никто. Ибо имя произнесенное или написанное имеет огромную силу и будет услышано богами – так учили ее в детстве. Но ведь ее тело тоже истлеет, Ахенатон никогда не позволит себе отступить от принципов. Значит, не остается никакой надежды на встречу с дочерью в загробном мире. Нефертити перестала тогда есть и выходить из своих покоев. И обеспокоенный фараон все-таки приказал забальзамировать тело дочери. Боль в душе немного утихла. Но каким же образом ей самой остаться вечно-

сти и встретиться с дочерью в Полях Иару. Как? Это мучило ее. И вдруг однажды осенило: вечность ей может дать ее изображение, как можно более близкое к реальности. А лучший ее портрет создал скульптор... Как его имя?

Она заглянула за колонну из слоновой кости, на которой стоял ее бюст. На камне было начарапано: «Нефертити». И ниже, очень мелко – «Тутмес». Да. Теперь он должен изваять ее целиком.

Тутмес получил приказ явиться во дворец Мару-Атон.

* * *

... Знаком царица отпустила служанок:

– Подойди ко мне.

Он подошел. Ее веки были тяжелы от малахитовой туши.

– Скажи мне, веришь ли ты в Единого Истинного Бога Атона, мастер? – почему-то спросила она.

Тутмес молчал.

– Ты должен отвечать прямо и честно то, что думаешь, а не то, что хочется слышать Нам...

В полупоклоне, опустив, как предписывалось по этикету, взгляд к инкрустированному золотыми дисками белому мраморному полу, он заговорил:

– О Божественная, я верю в то, что мир не ограничен городами и деревнями по берегам Реки. Есть другие племена и другая жизнь. Среди нас теперь живут критяне, миттанийцы, о которых раньше никто и не слышал. Меняются обычаи, меняется мир. Если мы будем меняться вместе с ним, Египет тоже будет продолжаться. Атон – бог нового, будущего мира. Я верю, что приход этого мира не сможет остановить никто.

– Ты думаешь, в новом мире не будет крови?

– Возможно ли без крови и боли даже рождение ребенка?

– Ты умеешь мыслить. Но ты не веришь в Единственного и Истинного Бога.

– Я...

– Молчи. Нам обоим известен ответ, не укутывай его в лишние слова. Веришь ли ты в Нашу божественную природу?

– Я боготворю Твою Божественную природу, царица.

– Подними глаза!

Он повиновался.

Она поднялась из массивного мраморного кресла и застыла, прямая, как копье. Встала так, что окно оказалось позади нее. Неуловимым движением расстегнула золотые застёжки белого платья, и оно упало на пол. Совершенно обнаженная, царица стояла перед Тутмесом, чуть приподняв подбородок.

Она ожидала его реакции. Если взгляд этого умного и талантливого человека наполнится восторгом и благоговением, значит, она Божественна несмотря ни на что. Если же нет...

Она смотрела в его глаза и ждала. Наконец сказала:

– Подойди! Я хочу, чтобы ты запомнил меня и изваял такой, какой видишь.

Тутмес подошел. Она стояла неподвижно, только напряглась ее маленькая грудь.

Это продолжалось всего несколько мгновений, но Нефертити показалось, что она прочитала в глазах скульптора ответ на свой вопрос. Хотя уверена все равно не была.

– Теперь – уходи.

Не отрывая глаз от женщины, пятясь, Тутмес приближался к выходу.

Последнее, что он услышал уже за порогом, это то, как Нефертити хлопнула в ладоши, зовя служанок.

Придя домой, он не нашел сына. Тот был уже на пути в Нут-Амон.

Аихеппа томно готовила трапезу. Тутмес смотрел, как она наклоняется, ставя кушанья на низкий столик, как натягивается синяя туника на сосках ее необъятных грудей. Он набросился на нее как голодный зверь. Столик с кушаньями перевернулся, бронзовые блюда загремели на каменном полу. Аихеппа была удивлена неожиданной страстью хозяина – обычно он редко ее замечал.

* * *

Река уже вышла из берегов и стала опадать, а Тутмес не оставлял своей мастерской. Несколько раз он разбивал почти готовую статую и начинал снова. Ничего не получалось. Божественное и человеческое отказывались сливаться в едином образе.



Статуя Нефертити скульптора Тутмеса

Тогда, во дворце, он не увидел в обнажившейся перед ним царице Божества, которое видел в ней раньше. Он увидел стареющее, хотя и все еще красивое тело много рожавшей женщины. И ее покрытое толстым слоем пудры лицо выдавало страх перед неизбежным увяданием.

Теперь он страдал. Он старался извять Божество, ведь этого ожидала *царица*, а руки его, словно не повинуюсь воле разума, высекали *женщину*.

И, от отчаяния уже почти обезумев, Тутмес всем сердцем своим понял, что всегда любил ее. Любил и любит – и еще сильнее! – такой вот стареющей и оттого ставшей вдруг земной и понятной. Он закончил работу. И, взглянув на статую, вдруг испугался дня, когда царица придет за нею и ей откроется страшная для нее правда.

Измученный своими терзаниями, Тутмес лег спать. И умер. Спокойно. Во сне.

А на следующий день миттанийка Тадухеппа родила Ахенатону долгожданного мальчика.

Нефертити смотрела сверху на ликование столицы. К вечеру ей доложили, что доставлен ее заказ от скульптора. И когда ее двойника освободили из льняных пелен, Нефертити увидела, что получила от мертвого уже мастера ответ на свой главный вопрос. На мгновение она замерла. Попросила удостовериться, что на камне высечено действительно ее имя.

Это немедленно подтвердили. Тогда царица приказала убрать из своих покоев все зеркала и удалилась. Больше она никуда не выходила, и яства, что приносили ей, оставались нетронутыми. А потом, по ее просьбе, еду перестали приносить вообще.

...Дни шли, и ей стало очень хорошо: есть не хотелось, боль ушла. Ее тело словно стало легче пуха, она чувствовала себя божественно бесплотной. И у нее не было больше никаких желаний. Кроме одного – увидеть Макетатон.

И однажды утром она увидела: дочь весело вбегает в ее залитые светом покои!

Нефертити почувствовала прилив сил и села на кровати: ведь она всегда знала, знала, что увидит ее опять! И обе они рассмеялись от счастья.

Служанки застыли в ужасе, услышав из покоев Нефертити одинокий, призрачный, нечеловеческий смех.

Маленькая умница Макетатон легко взяла ее своей ручонкой за пальцы, помогла подняться и потянула за собой – туда, в пространство, залитое солнечными лучами. И Нефертити радостно пошла за ней – действительно чувствуя себя Божественной и Счастливейшей.

Всего через несколько лет фараона Ахенатона найдут в его дворце мертвым, и смерть эта очень многим покажется странной. Но доискиваться истины не станут. Фараона забальзамируют и похоронят с большими почестями и тщательным соблюдением всех старых обычаев.

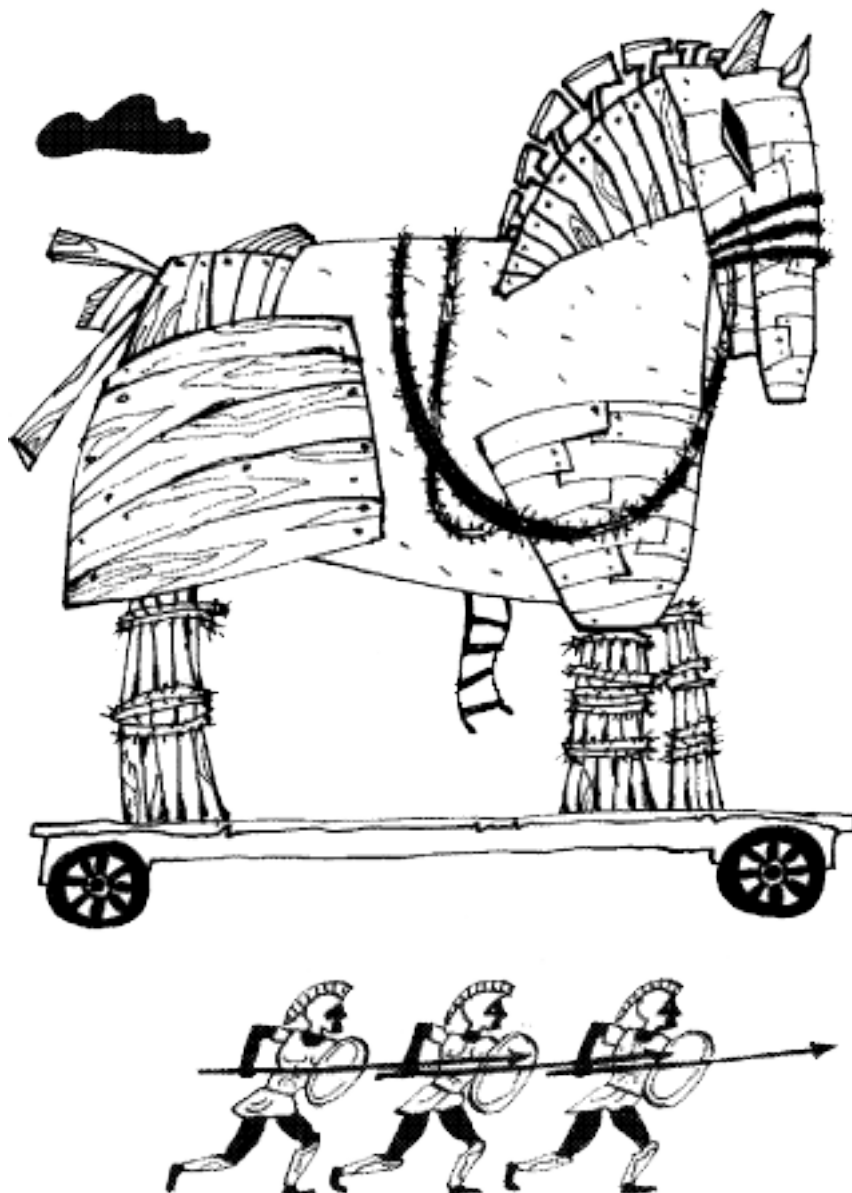
С ним умрет и культ странного Единого и Истинного Бога Солнечных Лучей с его запретом на пролитие крови и провозглашением всеобщего братства мудрых и добрых людей. Родившийся от миттанийки мальчик изменит имя Тутанхатон, данное ему отцом, на Тутанхамон – во славу старого бога Амона, восстановит храмы Осириса, Тота, Птаха, Исида, Амона-Ра, вернет и всех остальных близких египтянам богов и прикажет уничтожить все надписи с именем отца. Этот приказ с удовольствием исполнят. В Фивах, Абидосе и других городах продолжатся праздники Осириса, жертвоприношения «чистых», украшенных цветами быков. Вечность и неизменность, казалось, вновь, вернуться на берега Реки.

Но начнется-таки Время Перемен – начало заката старой, жившей своей замкнутой и счастливой жизнью страны Кемет. Вторжения кочевников, бунты рабов, наводнения, неурожай. Великолепные столицы занесет неумолимый песок, и останутся только огромные разрушающиеся пирамиды в выжженной желтой пустыне и истлевшие в погребениях мумии. И – живое, прекрасное изображение женичины с чуть прикрытыми, словно в страсти, глазами. Творение безумного Тутмеса, подарившего смертной – бессмертие.

Троя: великая и странная война

*Мы, оглядываясь, видим лишь руины.
Взгляд, конечно, варварский, но верный.*

И. Бродский





«...Мудрым является тот, кто не заботится о похищенных женщинах. Ясно ведь, что женщин не похитили бы, если бы те сами того не захотели. По словам персов, жители Азии вовсе не обращают внимания на похищение женщин, эллины же, напротив, ради женщины из Лаке-демона собрали огромное войско, затем переправились в Азию и сокрушили державу Приама»²⁰.

Так, вполне ясно, высказался когда-то Первый историк. И мыслил он весьма резонно. Ведь поведи себя эллины подобно персам, плюнь они на похищенную жену Менелая – и не было бы той странной, кровавой, глупой и прекрасной Троянской войны, не было бы гомеровских «Илиады» и «Одиссеи», тысячелетиями цитируемых, изучаемых, представляемых, пародируемых, так что, странное дело, но и сегодня живет троянская легенда и обрастает все новыми подробностями.

²⁰ Геродот, «История». Книга первая «Клио».

Да. То, что предприняли тогда эллины, не перестает изумлять даже самую воинственно настроенную публику и сегодня. Из-за похищенной – правда, весьма привлекательной – жены спартанского правителя собирается вдруг многотысячное войско, несколько лет строится и оснащается тысяча огромных боевых галер, и эллины (они же ахейцы, они же данайцы) осаждают «крепкостенную Трои». И длится эта осада не месяц, не два, а десять долгих лет. В военные действия вовлекается вся Эллада, народы Малой Азии, а полагают, что и Финикии, и Месопотамии. Так «непропорциональная военная реакция» (по выражению современной прессы) переросла, по сути, в... *самую первую* мировую войну. Что же это за безумие накатило вдруг на гармоничных душой и телом греков из-за красавицы по имени Елена?

Долгое время думали, что все это – сказки, что слепой Гомер сочинял и пел по тавернам для заработка и развлечения тех слушателей, которые не могли позволить себе ходить по театрам. А потом нашелся энтузиаст, Генрих Шлиман (одни считают его удачливейшим археологом, другие – мошенником и авантюристом, третьи – всем вместе), и копал-копал, да и раскопал-таки на берегу Геллеспонта²¹ развалины крепостных стен большого и богатого города, разрушенного страшной войной и пожаром. И, словно из рассыпанных кусочков мозаики, сложилась вдруг картинка: ну точь-в-точь все, как описал Гомер. Все удивительно сходилось и тогда, когда Трои начали раскапывать уже по-настоящему, профессионально. Так и узнали, что величайшее произведение европейской литературы, диктантами из которого учителя мучили еще Александра Македонского и Юлия Цезаря, было не досужей выдумкой слепого певца, а создавалось на основе событий реальных. Хотя какая разница? Раз читаем и верим, значит – было!

А ведь произведение это – более чем неподходящее для включения в список литературы, предназначенной юношеству. Сами посудите: человеческие жертвоприношения, пагубные страсти, воровство, предательство, сумасшедшая одержимость, культ силы и пропаганда весьма откровенно описанного насилия, в том числе и над женщинами. Особенно потрясает то, что творится по ходу повествования на божественном Олимпе: бабские, простите, склоки между богинями, угрозы расправы, жестокость и отрицание авторитета самого верховного бога Зевса. Интересно, а как чувствовали себя древние греки, зная, что в руках таких вот, извините, капризных и распущенных небожителей находятся их судьбы? Возможно, этим и объясняется их фатализм...

Ах, Троянская война! Неотразимо привлекательные доспехи, шлемы с конскими хвостами, стройные мужские ноги из-под боевых кожаных мини-юбок, «Гнев богиня воспой Ахиллеса, Пелеева сына»...

И вот уже тысячелетия не утихают споры: кем же она все-таки была – первопричина этой войны, Елена, женщина, из-за страсти к которой погибло столько людей и был разрушен могучий, богатый город.

Бездушной авантюристкой, погнавшейся за красивым любовником и богатствами Трои и бросившей всё, даже малолетнюю дочь? Или было ей хоть какое-то оправдание?

Представьте, что садимся мы на теплых камнях троянских развалин на турецком теперь берегу.

Солнце только что село. Цикады верещат. Покой разлит в воздухе.

Готовы? Тогда я, певец, ударяю по струнам воображаемой кифары.

²¹ Древнегреческое название Дарданелльского пролива. *Геллеспонт* – «Море Геллы». По преданию, царская дочь Гелла упала в это море, летя в Колхиду на необычном летательном средстве – волшебном золоторунном баране. Она и ее брат спасались от злой мачехи, а у Геллы над проливом, скорее всего, закружилась голова.

Яблоко раздора

Троянской царице Гекубе, будущей матери Париса, во время беременности приснился однажды сон, что рождает она факел, который сожжет их город. Мальчик появился на свет хорошеньким и здоровым, но их полоумная старшенькая – Кассандра – задрожала, забилась вся и стала лопотать, что младенец погубит и всех их, и Трою. И это еще больше укрепило Гекубу в суеверных опасениях.

Кассандра была когда-то нормальной девицей, целомудренной и весьма красивой. Настолько красивой, что понравилась самому Аполлону. И настолько целомудренной, что на все попытки бога познакомиться с ней в более интимной обстановке отвечала вежливым, но решительным отказом. Распаленный ее сопротивлением Аполлон понял тогда, что ничего не получится, и от оскорбленного мужского самолюбия придумал довольно жестокую «божественную» месть. Он наделил Кассандру даром предвидения, но наказал ее при этом всеобщим недоверием ко всем ее пророчествам. И вот ходила Кассандра, отягощенная невыносимой тяжестью знания Будущего, потихоньку сходила от этого с ума и умоляла всех прислушаться. Но все – только отмахивались. Интересно, однако, что отец и мать ей насчет Париса поверили и, скрепя сердце, приказали рабам унести новорожденного на гору Иду и там оставить.

Тут-то все и начинается.

Мальчика находит пастух, жена которого как раз родила мертвого ребенка. У нее полно молока, и она вскармливает Париса. Хорошенький мальчик подрастает, усердно пасет коз, носится с собаками. И не подозревает, чей он на самом деле сын и какая уготована ему участь.

И вдруг в один жаркий полдень видит он под тенистой оливой трех высоких дам – в красивых тонких белых одеждах и явно не из здешних мест²².

И подзывают они его знаками. Ну, поначалу он струхнул, однако послушаться не посмел, ибо одна из них имела внушительные бицепсы и опиралась на копье. И протягивает ему та из них, что постарше, золотое яблоко, на котором какие-то непонятные знаки нацарапаны²³, и просят они его ни с того ни с сего отдать это яблоко той, которая, с его точки зрения, самая из них привлекательная.

Надо отметить, что этот вопрос они уже задавали Зевсу, но даже главный бог Олимпа уклонился от прямого ответа, а яблока этого ужасного и касаться не стал! И то сказать, вопрос-то – опасный. Определять, кто же самая что ни на есть красавица – жена или одна из дочерей, даже Зевсу показалось делом слишком рискованным, потому Громовержец от этого чреватого крупными неприятностями судьейства благоразумно уклонился. Может быть, сказав при этом что-нибудь вроде: «Да все вы красавицы, будет глупостями-то маяться, делом бы занялись!»

Тогда подкараулили они юного Париса, ничего пока не ведавшего об опасных противоречиях женской психики. И теперь за ответ на этот вопрос в ее пользу одна дама (та самая, серьезного вида, с копьем в руке) обещает ему мудрость и военную славу, другая (самая старшая, но все равно еще красивая) – власть над всем миром, а третья (и самая ничего себе, в тугом на округлой груди пеплосе) – сулит красивейшую на земле девчонку в жены и глазом подмигивает. И как же он им объяснит, что конкурс этот красоты – нечестный у них полу-

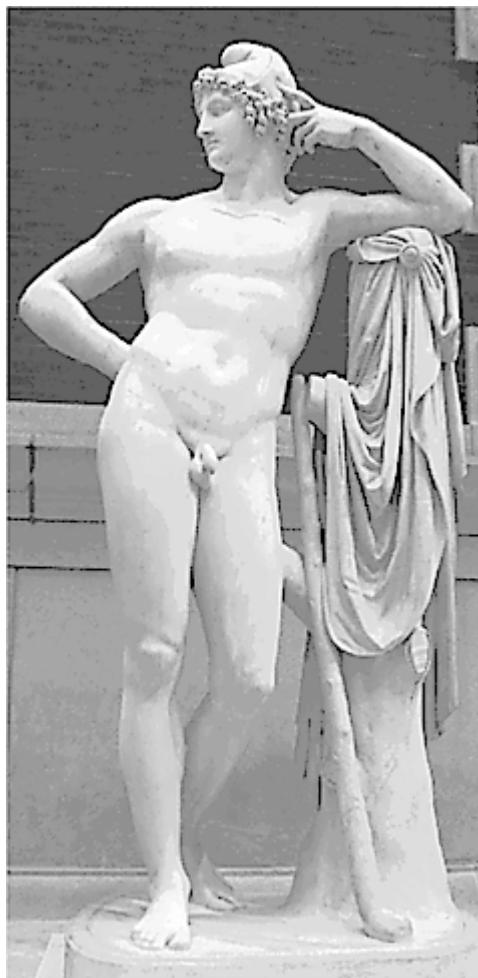
²² Это были три богини – Гера, жена Зевса, и его дочери Афина и Афродита.

²³ Слово на яблоке, что Парис не мог по неграмотности прочесть, было: *Καλλιστη* – «Прекраснейшей» (греч.).

чается: ведь не самую красивую из них ему выбирать придется, а самое привлекательное из предложений!

Дамы впились в него глазами. А он давно уже понял, не маленький, что не простые это смертные. И не хочется ему ни одну из них обидеть, да и страшно – не знает, чего от них ожидать, особенно от той серьезной, с копьем. Но потом он решает: власть над миром и военная слава – и то и другое ему, пастуху, вроде как-то без надобности. Мудрость – скучно. А вот от девчонки он бы не отказался! Сжал он в руке золотое яблоко, аж ладонь вспотела. Парису – шестнадцать, и настоящей девчонки у него пока еще не было. Вот возьми он и протяни яблоко той симпатичной, что девчонку пообещала, да еще и самую красивую. Афродита, довольная, захохотала, а остальные дамы с вытянувшимися сразу лицами растворились в воздухе.

Можете представить себе состояние Геры и Афины! Какой-то глупый троянский мальчишка совершенно разрушил их уверенность в собственной внешности и поселил комплексы! А для дам любого возраста неуверенность в собственной привлекательности – это, простите, очень и очень серьезно. В общем, у этих двух оскорбленных богинь Олимпа складывается в головах такой силлогизм: Парис – обидел, Парис – троянец, следовательно, троянцам – не жить! Афродита же (сама, между прочим, тоже давно не ребенок, кое-какие едва заметные морщинки у глаз уже наметились!) нога на ногу пьет на Олимпе нектар и самодовольно вокруг поглядывает. И нарочито громко смеется и отчаянно с мускулистыми богами кокетничает. А те и рады! Каково же Гере и Афине на эти ее выкрутасы смотреть?



Парис (Музей Метрополитен, Нью-Йорк)

Прошло несколько месяцев. Парис об этом случае в лесу уж и забыл давно, хотя девчонка кое-какая обнаружилась: потерял он невинность с юной лесной нимфой по имени Энона. Однако красавицей ее Парис никак бы не назвал, да и к тому же ее постоянный хохот по поводу и без повода вскоре стал его раздражать. Однако, коль обещали ему самую красивую на земле женщину, так он и ждет, а между тем особенно на эти мысли не отвлекается, занимается своими обычными делами (иначе от отца влетит) пастушеского сына: за стадом бегает, как и бегал, волков камнями да палками отгоняет, а в том процессе развивается физически. И вот однажды приходит он из своей горной деревушки в Трою – принять участие в каком-то спортивном состязании. Говорили, сам царь будет это состязание смотреть.

Сначала – бег. Выходит Парис на старт, занимает позицию. Зрители переглядываются, причем не только нетрадиционной древнегреческой ориентации, но и вполне традиционной – тоже: «Хорош-то как пастушок!» Посмотрели друг на друга и царь Трои Приам со царицей Гекубой: «Уж не наш ли, больно для пастушеского сына пригож?» – «Да что ты, старый, – вытирает наворачнувшуюся слезу мать Гекуба, – нашего-то сыночка уж давно волки съели, ведь ночи не сплю, все думаю: а ну как ошиблась Кассандрочка?» Но потом подзывают они юношу и его отца-пастуха, а старик – бух им в ноги, и выясняется, что все обстоятельства совпадают: найден голеньким, в хорошей пеленке, на горе Иде и тэдэ и тэпэ – «Прости, царь, рогатый Фавн попутал!».

Тут – всеобщая радость, о пророчестве никто и не вспоминает. Найденного царевича родители сразу отправляют принять ванну и, на свою беду, берут во дворец. Брат Гектор сразу начинает учить его вешам, необходимым для юноши благородного, – владению мечом, верховой езде, стрельбе из лука. Ну, стрельба из лука – куда ни шло, он еще пастухом себе лук смастерил, чтобы волков отгонять, а вот к фехтованию у него – никакой склонности, да и доспехи нежные места натирают, жарко в них, неудобно. Конечно, Парис рад несказанно, что оказался царским сыном: во дворце хорошеньких девчонок-рабынь – видимо-невидимо. И все же ни одна из них не поражает до глубины души его требовательного воображения. Напротив, чем больше он с ними развлекается, тем больше не хватает ему высокой и светлой любви с поистине прекрасной партнершей. И досадует он, что не спешит Афродита выполнять обещанное...

Могущественная Троя, где и развернулись дальнейшие события, находилась на самом западе современной Турции, на азиатском, естественно, берегу, а как раз напротив ее, в Элладе, был город Аргос. И правил там могущественный царь Агамемнон. Мужчина средних лет, сложен как бык – рослый, широкогрудый, голос громовой, затылок выразительный. И, как водится, привык он к беспрекословному повиновению окружающих, неважно, боги они там, герои или еще кто. Представления его о мире тоже были просты, как скобленный стол. Он просто хотел им править, и если уж не всем, то, на худой конец, хотя бы Элладой. Останавливаться, не достигнув желаемого, он не привык. И являлся этот грозный царь Агамемнон не кем иным, как мужем Клитемнестры (имена эпические, длинные и звучные!). Не иначе, в будничном, домашнем обиходе супруги адресовались друг к другу, используя некие укороченные версии имен – не повторять же их по несколько раз в день полностью!

К счастью уж или наоборот, виделась Клитемнестра со своим Агамемноном отнюдь не часто: сколачивание империи требовало от мужа отлучек частых и долгих. У брата его, Менелая, глобальное мышление было развито в гораздо меньшей степени, но оба они прославились как отличные бойцы, и связываться с ними мало кто в Элладе рисковал – себе дороже. Тем более что к Агамемнону слетались всякие искатели приключений и легкой наживы, из которых он сколотил себе немалое войско. Так что Агамемнон уже несколько лет только тем и занимался, что учил повиновению мелких окрестных царьков, и не без успеха. А к правителям посильнее применял более дипломатичные методы, привлекая их в союзники.

В любви был прям, как древко копья, то есть понравилась хорошенькая пленная девица – разговор у него с нею короткий: умастилась чем боги послали, и в койку. При этом он полагал, что его труднопроизносимая жена Клитемнестра ни о чем не догадывалась. Закончится все это для него в итоге очень плохо. Но он об этом не думал.

А теперь представьте его реакцию, когда он узнает, что у брата похитил жену какой-то троянский недоделок. Так Аид²⁴ бы с ней, с братовой бабой, но тут вопрос, извините, агамемноновско-атридской²⁵ чести: «Сдается, он хотел нас обидеть!» Оставлять такое безнаказанным – не в характере грозного Агамемнона! У него глаза застилает красный туман, ноздри раздуваются, он взрывает копытом песок почище Минотавра и грозно мычит.

Как там все получилось с похищением Елены – не знает никто и никогда не узнает. Говорят, не обошлось без содействия богини любви Афродиты. Она, мол, поскольку обещала Парису, то и толкнула Елену в его объятия. И та, охваченная страстью к прелестному экзотическому принцу, начала совершать необдуманные поступки...

А началось все так.

Отправил троянский царь Приам своих сыновей Гектора и Париса для установления дипломатических отношений со спартанским царем Менелаем, братом могущественного Агамемнона. Менелай принял их радушно. Попировали, заключили ряд взаимовыгодных соглашений о сотрудничестве. А посреди пира Менелай получает вдруг известие, что на Крите скончался его горячо любимый дедушка Катрей, и потому отплывать надо срочно. Спартанский царь извиняется перед гостями, делает все необходимые распоряжения, чтобы проводили их достойно, снабдили достаточным количеством амфор со всякой снедью и питьевой водой, а затем сердечно прощается и отплывает сам.

И что же наши троянские «дипломаты»? Они тоже отплывают через пару дней. Но – захватив при этом прелестную жену гостеприимного царя. Автоматически разрывая тем самым все достигнутые со Спартой дипломатические отношения и договоры.

Кто-то говорит, что Елену обманули и действительно похитили самым коварным образом, и что она отбивалась и плакала, но они были сильнее. Однако лишь немногие этому верят: уж слишком хорош был влюбленный Парис, чтобы всерьез от такого отбиваться. В общем, версии самые разные. А один поэт, Стесихор, вообще договорился до того, что никто Елену не похищал, а перенесла ее Афродита в Египет, где Елена на протяжении всей Троянской войны честно дожидалась мужа, а в Трою та же богиня отправила с Парисом *призрак* Елены. Ну, такую совсем уж неправдоподобную версию мы принимать не будем. Потому что с этим Стесихором, говорят, вот как получилось: опубликовал он о Елене какую-то очередную бульварную гнусность и – вдруг ослеп. То есть еще утром все было хорошо, а к вечеру – натывается на углы и голосит от ужаса. А ночью является к нему во сне сама Елена и, укоризненно качая величественной прической, грустно так ему говорит: «Что ж ты, борзопи-сец и подлец эдакий, пишешь обо мне всякие гадости? Неужели недостаточно меня в грязи вываливали, один Еврипид чего стоит, „Троянок“ настрочил – клевета одна, а тут теперь и ты? Нехорошо. А я, между прочим, единственная дочка Зевса Громовержца²⁶». Повинился Стесихор: «Прости, богиня, дурака старого! Не буду, не буду, никогда не буду!» – «Ну то-

²⁴ Аид – в древнегреческой мифологии одновременно и подземный мир мертвых, и его бог.

²⁵ Атрид – отец Агамемнона и Менелая, поэтому братьев называли Атриды. Так что полное имя грозного царя было бы примерно таким: «Агамемнон Атридович Аргосский» (так как резиденция его основная находилась в городе Аргосе). Мемнон значит «упорный», Агамемнон – «очень упорный», так что имя было у царя самое что ни на есть подходящее.

²⁶ По преданию, матерью Елены была прекрасная Леда, которую в облике лебедя соблазнил сам Зевс (у Зевса от всех остальных его захватывающих романов с земными женщинами рождались только мальчики). По другой версии, Леда вообще снесла яйцо, из которого и вылупилась Елена. Но нам кажется, что тут греческое мифотворчество со своей птичьей метафорой зашло слишком далеко.

то же!» – якобы сказала ему Елена, и наутро он прозрел и написал приведенное выше опровержение. Ну, теория стесихоровская ни в какие троянские ворота не лезет уже потому, что Парис за десять лет жизни с Еленой как-нибудь, наверное, разобрался бы, с призраком он спит или нет.

Хотя и говорят, что именно вследствие Троянской войны французы и сложили поговорку «шерше ля фам» – «ищите женщину» (как первопричину любого конфликта), нам представляется это отражением галльского, излишне романтического представления о действительности. Надо отметить, что ходили упорные слухи: мол, Парис похитил не только Елену, но и большое количество принадлежавшего Менелаю имущества из спартанской казны. Об этом так прямо у Гомера и говорится, без всяких экивоков, хотя списка похищенных предметов наряду со списком кораблей слепой аэд не приводит, а жаль.

Интересно, что «дипломаты» троянские сразу домой не поплыли, а завернули сначала на остров Краная (где, как говорит легенда, Парис наконец-то добился своего от Елены), а потом отправились в финикийский Сидон и даже в Египет. Погоню, видать, со следа сбивали.

Как только дело это получило всеэлладскую огласку, в Трою отправляется делегация. Во главе с Менелаем и «хитроумным» Одиссеем – с призывом к троянской царствующей фамилии вернуть все украденное законному владельцу, который уже едва себя сдерживает. Неужели Менелай действительно надеялся, что Парис ему Елену и имущество отдаст? Точно знал ведь, что нет. Так зачем же ездил, унижался? А мы думаем, вот зачем: решение осадить Трою все равно давно уже было принято, и Агамемнон собирал в Авлиде флот, а целью визита был визуальный сбор стратегической информации – о высоте стен, численности гарнизона, количестве катапульта и так далее.



Менелай

А Троя, надо сказать, была городом богатейшим, ибо стояла она на перекрестке важнейших морских торговых путей, и оседали тут ценности огромные – одно гомеровское описание мраморного дворца Приама чего стоит! Даже если сделать скидку на эпическую гиперболу – пятьдесят комнат, не считая залов тронного, оружейного, а еще подсобных помещений, кухни, наконец. Внушительно, что и говорить! Ведь большинство царей Эллады только назывались громко – «цари», а жилища их и стиль жизни в описываемые времена были не слишком притязательны. Ну разве что мебель получше качеством, чем у большин-

ства подданных, осветительных треножников побольше, портьеры поинтереснее вышиты и беспризорные козлята по дому не скачут.

Красота Елены была известна всем, поскольку большинство участников будущего вооруженного конфликта когда-то уже приходили к ее отцу сватать девицу. Но многих привело также и любопытство. Дело в том, что по Элладе ходил упорный слух, будто Елена – дочь вовсе не Тиндарея, царя ничем не примечательного, а действительно самого Зевса, причем дочь – единственная. Что Зевс соблазнил мать Елены Леду, приняв облик лебедя. Относительно физиологических деталей отношений женщины и пернатого соблазнителя споры, надо думать, велись. Касательно же моральной стороны дела мужская половина склонялась к тому мнению, что для женщины гораздо целомудреннее отдаться Зевсу в образе птицы, нежели Зевсу в образе мужика. В общем, у Елены и до ее похищения Парисом уже была несколько скандальная известность.

Говорили также, что девицу еще до этого ненадолго похитил герой Тезей, победитель Минотавра, но братья выкрали ее обратно. Одни болтали, что Тезей ее обрюхатил, а ребенка отдали на воспитание ее замужней сестре, другие уверяли, будто им достоверно известно, что вернулась она домой, как и была, нетронутой. В общем, у женихов, приезжавших ее сватать, уже имелась масса противоречивой информации. В толпе соискателей оказался, между прочим, и сам «хитроумный» Одиссей (единственный, кстати, кто не привез Тиндарею никакого подарка), однако ни Гектора, ни Париса среди них не было. И вот, когда кандидаты в женихи увидели реальную Елену, вышедшую к ним по зову Тиндарея, то все, враз забыв слухи и сплетни, так и застыли с открытыми ртами. *Такую женщину* они действительно еще никогда в жизни своей не видели! А Елена, неожиданно для многих, выбрала тогда Менелая – аргосца, человека крепко сбитого, обстоятельного, серьезного, хотя ничем особенным не выдающегося, разве что надежного в дружбе и бойца знатного. Однако эту историю мы еще расскажем, а теперь вернемся к Троянской войне.



Елена

Сначала никто из призванных Агамемноном союзников плыть в какую-то там Трою и сражаться за похищенную Елену не хотел, приводя, очень возможно, тот «персидский аргумент», с которого мы начали рассказ.

И неудивительно. У всех мало-мальски известных героев, воинов и царей были относительно этой грядущей кампании очень плохие предчувствия. Некоторым боги прямо так и сообщили, словно врачи – раковый диагноз: надоедать внукам ветеранскими рассказами, шамкая беззубыми ртами, вам не придется, не увидите вы своих сопливых внуков, ибо троянские стены будут последним, что отразится на сетчатке ваших глаз, перед тем как вы их навсегда закроете! Ну, может, и не в таких именно выражениях, но смысл – таков.

В общем, Троянская война стала возможной только благодаря бычьему упорству Агамемнона.

Но у него – не уклонишься! Например, когда прибыл он за Одиссеем, «многоумный» царь Итаки притворился умалишенным, надел какой-то шутовской колпак и стал пахать пашню на волах, горлая какие-то идиотские древнегреческие частушки. Ни первое, ни второе, ни третье совершенно не было в его характере. Агамемнон же, словно предвидя подобное поведение, по пути на поле захватил новорожденного сына Одиссея и положил его в борозду – как раз там, где должен был пройти плуг. Волы дернулись, а Одиссей тут же бросился вперед, схватил ярмо, остановил волов и, надо думать, проорал Агамемнону выразительные древнегреческие слова по поводу его обращения с чужими младенцами и наследниками (не донесенные до нас из-за цензуры последующих тысячелетий). На что Агамемнон повернулся к сопровождающим его лицам: «Ну, что я говорил? Теперь видите? Симулянт, и даже не убедительный!» Ничего не оставалось Одиссею под таким напором, как сдаться.

Потом уже и самого Одиссея командировали за основным действующим лицом, и более того, героем будущей кампании – Ахиллом, сыном некоего Пелея и когда-то прелестной наяды Фетиды.

Здесь происходила история еще более странная. Мать Ахилла получила по олимпийским каналам достовернейшую информацию, что если сын ее примет участие в развязанной Агамемноном троянской кампании, то его ждет неминуемая гибель, однако при этом – великая, практически вечная посмертная слава. Последнее обстоятельство Фетида пропустила мимо ушей, малодушно предпочитая живого сына его же памятникам на центральных площадях Древней Эллады. Она к тому же припомнила, что, когда старалась обеспечить милому сыночку бессмертие, опуская его в воды Стикса²⁷, розовая его пяточка, как крупная фасолина, оставалась над поверхностью. А вторичное опускание младенца уже не допускалось. Пустячок, конечно, но зачем рисковать? И вот Фетида прячет своего, надо полагать, физически хорошо развитого и мужественного сына (Ахилла, одним словом!) в фессалийской Фтии, во дворце, среди писклявой, ткуще-вышивающей женской челяди. И будущий герой проводит дни с завитыми волосами, натянув на полтораметровые плечи розовый дамский пеплос.

Если вспомнить гомеровское описание громового клича Ахилла у стен Трои, когда он вызывал на бой Гектора, то (даже учитывая усилительный эффект, обеспеченный богиней Афиной!) можно не сомневаться: подражание женскому голосу вряд ли давалось Ахиллу легко или было убедительно.

И вот приезжает за Ахиллом в этот самый город Фтия многоумный Одиссей. Ему говорят, что Ахилл куда-то отлучился, а куда – никому не сказал. Фетида, превратившаяся к тому времени из легкомысленной полуодетой наяды в уважаемую, вполне одетую мамашу средних лет, только разводит руками, но Одиссей замечает, что глаза-то у нее – бегают. К тому же его тоже теперь на мякине не проведешь: сам пытался уклониться от агамемноновского «призыва». К тому же бицепсы, что угадываются под складками розовой гиматии²⁸ одной

²⁷ Стикс – река, в греческой мифологии отделяющая мир живых от мира мертвых.

²⁸ Плащ-накидка.

высоченной молчаливой девахи из прелестного фтийского девичьего цветника, вызывают у Одиссея ох и сильное подозрение!

Но никому он о своем подозрении не говорит, чтобы не обидеть недоверием бывшую наяду, а притворно и громко сокрушается (так, чтобы девицы, прыгающие через скакалочку на пыльном дворцовом двореке, хорошо слышали):

– Вот ведь незадача! Привез Ахиллу отличные доспехи – легкие, крепкие, одно удовольствие в таких сражаться, а его нет...

– Да ты, Одиссей, доспехи-то оставь, я ему передам, – говорит Фетида.

– Ну разве что так. Да и передай, что войско Эллады ждет Ахилла в Авлиде с его мирмидонцами. Передашь? А доспехи – вот кладу их сюда, на ступеньку, – говорит Одиссей. А сам смотрит зорко, не взглянул ли кто из девиц на доспехи. Никто... «Ну ладно, – думает Одиссей, – я тебя, хитреца, все равно на чистую воду выведу!» И идет к воротам, будто бы уходит.

Фетида улыбается:

– Все передам, не сомневайся! Он как узнает – сразу же на корабль, и к вам, в Авлиду. Ну, я пошла ему сухари сушить в дорогу да запасные сандалии укладывать.

Одиссей медленно так идет к воротам и затевает там намеренно стычку со стражником из-за чего-то крайне незначительного. Шум, гам, переполох, девицы завизжали, скакалки в пыль побросали. А Одиссей, за грудки таская стражника, зорко за девицами наблюдает. И видит он, как одна девица подобрала гофрированное платье, под которым оказались вполне мужские коленки, в два прыжка оказалась у оставленных Одиссеем доспехов, схватила меч с такой сноровкой и встала в такую безукоризненную бойцовскую стойку, что кто угодно мог подумать: девица эта хотя бы раз уже совершала подобный маневр. Всё...

Вот так Одиссей «вычислил» Ахилла, старавшегося, под влиянием любящей матери, уклониться от выполнения воинского долга перед Элладой. Конечно, Одиссей мог сразу его разоблачить, но, может быть, не хотел уязвлять самолюбие будущего троянского героя. Ахейцам же Ахилл нужен был гораздо больше, чем они – Ахиллу, боги ведь предсказали, что без участия Ахилла шансы эллинов уменьшатся катастрофически. Потому о проявленной героем слабости быстро забыли, и Ахиллес прибыл в Авлиду со щитом и мечом и тестостероном, поднявшимся до уровня переносицы, во главе своих неистовых мирмидонцев. И никто никогда о фтийском эпизоде ему не напоминал.

И вот собралось в Авлиде видимо-невидимо отлично оснащенных триер, ибо у каждого царя раздробленной Эллады имелась более-менее приличная военно-торговая флотилия, у кого до десяти кораблей, у кого – даже больше ста. Без моря греки не мыслили себе ни пейзажа, ни приличного обеда (рыба и морепродукты), ни войны²⁹.

Ну, собратся-то флот собрался: амфоры и мешки с провиантом погружены, а также амуниция, лошади, осадные машины в разобранном виде. Размещены и пассажиры – вечно голодные певцы будущих подвигов – и слепые, и зрячие. Но двинуть на Трою – никак: Агамемнона дернуло за язык сказать что-то слишком самонадеянное по поводу собственных охотничьих талантов – что, мол, он в глаз лани попадет там, где и Артемида промахнется. А Артемида услышала – и наслала встречный штормовой ветер: только отойдет корабль от берега, а его, как ни надрываются гребцы, обратно прибывает. И так – целый месяц, а то и дольше. Ахейские гоплиты³⁰ от вынужденного безделья в кости на перевернутых щитах режутся, пьянствуют, за авлидскими пастушками гоняются. А что им еще остается? Но боевую форму – теряют. И уже начинается ропот, призывы никуда и вовсе не плыть, раз уж боги

²⁹ Недаром образно выразился один великий древнегреческий мыслитель: «Мы, греки, расселись вокруг Средиземного моря как лягушки вокруг пруда».

³⁰ *Гоплиты* – воины тяжеловооруженной древнегреческой пехоты.

против, и не лучше ли – по домам? Пассионарный Агамемнон от этих разговоров краснеет апоплексически и притворно ласково обещает содрать кожу живьем с каждого, кто еще раз о подобном заикнется. Ахейские воины и их предводители помалкивают, но за его широкой спиной крутят у виска пальцем: мол, совсем триера накренилась...

И вот собирает Агамемнон как-то утром всех на Авлидской центральной агоре³¹ и сообщает, что его осенила отличная идея: он пошлет в Аргос, за дочкой своей Ифигенией, и все дружно соберутся, устроят Артемиде отличное жертвоприношение, и тогда уж богиня точно прекратит мешать экспедиции. «А за дочкой-то зачем посылать?» – недоумевают собравшиеся. «Так ее и будем приносить в жертву! И как такая простая идея мне раньше в голову не приходила?» – счастливо и как-то почти мечтательно улыбается бородатый Агамемнон. У собравшихся легкий мороз ползет по спинам и ниже, невзирая на жаркое аттическое утро. Им уже по-настоящему жутко, ибо теперь все поняли, насколько серьезны намерения аргосского царя и что отвертеться от этого похода не получится ни при каких обстоятельствах. Целеустремленный он человек, если не сказать больше.

Через некоторое время Клитемнестра получает от мужа доставленное запыленным гонцом устное сообщение: царь приглашает жену и дочь в Авлиду, ибо нашел он для Ифигении прекрасного жениха – самого Ахилла! Ну кто ж не знает Ахилла, такой душка! Естественно, в Аргосе – радостный переполох, сборы. Вскоре обе прибывают сушей в Авлиду. Дочь сразу же оттаскивают от матери и приносят в жертву – так быстро, что девица и понять ничего не успевает. Так что Ифигения стала первой невинной жертвой этой войны.

Клитемнестру тут же без церемоний отправляют обратно в Аргос, куда, учитывая древнегреческие скорости, две-три недели пути, причем на безрессорной пассажирской колеснице, чтобы не сказать на телеге с навесом. Она все это потом муженьку ох как припомнит! Правда, одна легенда говорит, что жертвоприношение все-таки не состоялось: богиня Артемиды сама не ожидала, что имеет дело с маньяком, вмешалась в последний момент и спасла Ифигению, перенесла девицу подальше от такого папаши в крымскую Тавриду, где сделала ее жрицей одного из своих храмов. Однако как бы то ни было, а после всех этих событий ветер и впрямь сразу прекратился, и на рассвете греческий флот в тысячу кораблей взрезал веслами оливково-масляную гладь Эгейского моря...

И вот, словно неотвратимая беда, приближаются к «крепкостенной» Трое «черные», как пишет Гомер (не иначе, хорошо просмоленные), корабли несметного ахейского флота.

В Трое между тем военачальник Антенор с царем Приамом организуют оборону, Гектор выступает с призывно-патриотическими речами, стараясь представить умыкание Елены и требование Менелая вернуть жену как посягательство ахейского агрессора на троянские национальные интересы. Конечно, это непросто и требует сверхъестественной силы убеждения, но ему, в общем, почти удается. Однако тут взбирается на возвышение агоры его растрепанная сестрица Кассандра с размазанной по щекам глазной тушью и кричит дурным голосом, что Троя обречена, что видит она стены в огне и гибель всех присутствующих. Никто ей не верит, однако подъему боевого духа троянцев это никак не способствует, потому девицу быстро уводят под белые руки и без церемоний сажают в каменный мешок с отличной звукоизоляцией. Париса же троянцы видят нечасто, потому что большую часть времени он эгоистично проводит с Еленой в спальне и предоставляет организацию обороны Гектору.

Ахейцы-данайцы между тем уже вытаскивают свои корабли на берег и устраивают из них как бы мини-город. Хоть они и не предполагали, что застрянут на широком троянском пляже на десять лет, Агамемнон справедливо рассудил: осада скорой не бывает, поэтому приказал расположиться перед троянскими стенами по-хозяйски. Войско роет вокруг своего

³¹ *Агора* – площадь для собраний населения города, на которой обычно был и рынок.

огромного лагеря траншею, отводят поближе к лагерю воду ближайших речек Скамандра и Ксанфа, лекари Махаон и Подамир оперативно разворачивают полевой хирургический госпиталь. Агамемнон же деловито договаривается с лоснящимися веселыми фракийцами и лемносцами о поставках продовольствия и фуража с оплатой в счет захваченной в Трое добычи. Оплаты поставщикам ждать придется долго, но обязательства свои они все равно выполняют, ибо вся Эллада знает: в Трое всех ждет пожива знатная, поскольку город контролирует всю торговлю через Геллеспонт.

Казалось, все устраивается как нельзя лучше, но в лагере ахейцев (они же эллины, они же данайцы) вдруг происходит столкновение предводителя с главным героем. Агамемнон и Ахилл не поделили пленную троянскую девицу Брисеиду – ее по праву старшего умыкнул к себе на флагманскую галеру Агамемнон, оставив Ахилла ни с чем, кроме смертельной обиды и понятной неудовлетворенности. Обстоятельства ее пленения, равно как и ее личные предпочтения, навсегда останутся покрытыми тысячелетним мраком неизвестности. Что касается Ахилла, то в Брисеиде он видел не просто средство для заслуженного солдатского отдыха, а стал вдруг испытывать к ней большое и светлое чувство. И задрожали у героя от обиды на авторитарного главнокомандующего мужественные губы, и пнул он борт флагманской галеры Агамемнона, и закричал при всех, что плевать он хотел на него и его войну, и на Трои, и на эту Елену. И вообще: раз с ним так – он уходит.

Сказал – и сделал. И уводит Ахилл своих бравых мирмидонцев с театра военных действий. Но обратно в Фессалию свою не отбывает, а почему-то остается и наблюдает за ходом событий со своей поодаль размещенной галеры, проводя время в пирах, беседах с другом Патроклом и, за неимением прелестной Брисеиды, в развлечениях с оставшимися у него пленницами средней привлекательности.

На Олимпе же между тем Афина и Гера активно формируют коалицию против троянцев, тогда как Афродита и Аполлон – не то чтобы объединяют усилия, но решают противодействовать по мере сил разгневанным богиням, если увидят, что дела троянцев плохи. Силы – примерно равны. Симпатии Зевса – скорее на стороне троянцев, но он официально заявляет о том, что напрямую вмешиваться не намерен и другим богам не советует.

И вот, увязая в песке, стройные ряды ахейцев в бронзовых шлемах, поножах и латах, ошетилившихся длинными пиками, идут к Трое. Под стенами их уже ждут такие же стройные ряды троянцев в таких же начищенных до блеска доспехах. И начинается битва, о которой нам во всех графических подробностях повествует Гомер – не обходя вниманием ни стекающие по древкам копий мозги, ни окровавленные глазные яблоки, вышибленные из глазниц и падающие в песок, не забывая красочно и медицински достоверно описать артериальные кровотечения, выпущенные внутренние органы и тэдэ. В общем, становится ясно: поэт хорошо знал предмет, о котором пел.

А во время битвы один человек постоянно оглядывается вокруг. Это Менелай. Он ищет своего заклятого врага. Жажда мести переполняет спартанского царя как ванну, над которой забыли выключить горячий кран. Он – страшен. Троянцы падают вокруг него как молодая поросль от топора лесоруба-маньяка. Его огромного размера сандалии совсем увязли в песке.

Наконец видит он Париса и с диким ревом начинает его преследовать. Бойцы слышат его боевой клич, понимают, *что* это означает, и на минуту из любопытства приостанавливают сечу. И что же они видят? Парис на глазах всех троянцев и ахейцев... драпает от Менелая по направлению к городским воротам – бросив шлем, смешно выпучив глаза и выбрасывая коленки. Раздается смех. Потом – сильнее. Забрызганные кровью бойцы хохочут – сначала ахейцы и троянцы, потом – уже только ахейцы.

На Скейских воротах, как на трибуне, за битвой наблюдают царь Приам, вся многочисленная царская семья, и троянские старейшины, и Елена. Старейшины, кстати, не столько

интересуются битвой, сколько таращатся на Елену и, судя по всему, обсуждают достоинства ее интеллекта, одобрительно кивая при этом головами. Но Елена ничего не замечает, ее глаза прикованы к Парису. Стыдно ли ей за любовника при виде того, как он зайцем удирает от Менелая? Понимает ли она, что совершила роковую ошибку? Неизвестно. Ей слова не дают.

Зато на братца обрушивается Гектор. Храбрый и техничный боец, гордость родителей, он останавливает драпающего любовника Елены у самых Скейских ворот. С самого начала Гектор был против этой авантюры брата с женой Менелая. Но если как мужчина, учитывая привлекательность Елены, он мог еще как-то Париса понять, то публичная трусость брата приводит его, профессионального воина, в настоящую ярость. И, нагнав прелестного братца у самой стены, Гектор хлещет его справедливыми и горькими словами.

Парис слышит за спиной гогот, немного приходит в себя и, отдышавшись, решает следующее: чтобы спасти свое достоинство, он вызовет Менелая на честный поединок – один на один. Победителю достанется Елена. К тому же в случае победы Менелая спартанцу возвращается все его похищенное имущество. Скорее всего, решение о поединке принял не сам Парис, его просто припер к стене Гектор и настоятельно «посоветовал» спасти таким образом и собственную, и троянскую честь. Вот поэтому, наверное, о вызове Париса и проорал ахейцам не Парис, а Гектор.

И Менелай прокричал в ответ: «Идёт! Мне давно не терпится отсечь твоему братцу...» Мы не будем дословно восстанавливать то, что орал в ответ Менелай, – все это легко представить себе и при минимуме воображения. А пока троянцы и ахейцы объявляют перемирие, враждующие армии совместно приносят жертвы богам – забивается большое количество крупного рогатого скота³². Лучшие куски, как велит обычай, посвящают богам, а остальное жареное мясо подают к ужину, и религиозный обряд жертвоприношения, как обычно, плавно переходит в ахейско-троянские шашлыки на морском берегу с хорошим фракийским вином.

...Костры бросают отсветы на бородатые лица, высоко на бархате неба – серебряная звездная пыль Млечного Пути, звучат нетрезвые голоса и смех, бряцают тамбурины и звенят бубенчики сразу появившихся танцовщиц. Хотя троянцы и не были эллинами, а происходили из этрусков, греческим они, находясь в непосредственном контакте с Элладой, владели прекрасно, и даже имели по два имени, одно – свое, другое – греческое. И богам тоже поклонялись греческим. Так что культурная общность была налицо, и у пирующих, надо думать, быстро нашлись общие темы, интересы и даже общие знакомые. Не исключено, что в ту ночь Троянская война многим определенно начала нравиться! А наутро армиям еще предстояло развлечение – смотреть бой Париса и Менелая. Сначала кое-кто предлагал делать ставки, но потом это дело бросили, так как на Париса не ставил практически никто. А многие семейные ахейцы даже пошли укладывать вещи, предвкушая скорое возвращение домой.

Одному Парису в ту ночь было явно не весело. Красавица Елена тихо спит рядом, а он, как посмотрит теперь на нее – сразу вспоминает разъяренного буйвола Менелая, и кровь стынет в жилах. Так и проворочался до рассвета, а тут и Гектор пришел – показать братцу кое-какие боевые приемы перед завтрашним поединком.

И вот – утро. Оба соперника выходят и идут навстречу друг другу. Невыспавшийся Парис оглядывается назад и видит угрожающий взгляд брата, а впереди... Нет, лучше и не думать о том, что впереди. А на Скейских воротах опять стоит Елена и там же – вся троянская знать. Для них это, надо полагать, уже стало многосерийным зрелищем!

³² Такое жертвоприношение называлось *гекатомба*, что и означает «сто быков», но потом так стали называть любое жертвоприношение, даже когда забивали далеко не сотню.

Теперь Парис уж конечно зол на богиню любви и красоты, ведь про бой с этим ужасным Менелаем Афродита, когда обещала ему самую красивую женщину, ничего не говорила! Так его провести! Но вызов был брошен на глазах у всех. Так что бой принимать придется, несмотря на то что невероятно претит Парису весь этот мачо-нонсенс... Ах, ну почему нельзя просто и безответственно и безнаказанно любить прелестную женщину, безо всяких этих доспехо-кровавых последствий?!

...Противники сходятся.

Парис ступает осторожно, словно по трясине идет. Менелай спокойно ждет его, надежно расставив ноги. Парис приближается неуверенно. Всем видно, что никакой стратегии боя он не продумал, а советы Гектора – уже от ужаса забыл. Вдруг Менелай молниеносно бросает копье, пробивает насквозь щит незадачливого любовника и ранит ему пах, что говорит о том, куда именно Менелай метил... Потом, подскочив к упавшему сопернику, он хватает его за шлем, словно собирается голыми руками оторвать голову, и, возможно, действительно так оно и есть. Шлем соскальзывает с головы Париса, и кожаный ремешок начинает душить его, как петля. Менелай тащит обидчика за шлем в расположение своего войска, оставляя на песке широкую борозду. Парис задыхается. Конец троянца неминуем.

Но Афродита, благодарная Парису за присуждение ей первого места на том конкурсе красоты, перерезает душащий ремешок, нагоняет Менелаю в глаза туман и уносит Париса в этом тумане, невидимого, в Трою – прямо в спальню к Елене. Гера и Афина, такой прыти от Афродиты не ожидавшие, в бессильной ярости бьют на Олимпе посуду. Сам Зевс разводит руками, не понимая, откуда у жены и дочери такая ненависть к Парису и троянцам. Про тот вопрос, который однажды задали они ему десять лет назад – кто из них самая красивая, а он не ответил, Зевс, конечно же, совершенно забыл как об абсолютно незначительном эпизоде. По всему видно, что даже главные богини, даже Афина, богиня мудрости, все-таки приоритет отдавали внешнему виду, а не внутреннему содержанию.

Полузадушенный же Менелаем Парис приходит в себя очень быстро – наверняка не без божественного вмешательства – и даже говорит Елене, до чего же хотелось бы ему прямо сейчас заняться любовью. А Елена как раз тклет великолепный тапес³³, на котором очень искусно изображает сцены благословенного мира и кровавой войны. И рабыни слышат, в каких нелепых выражениях говорит бывшая спартанская царица своему новому муженьку³⁴ все, что она теперь уже о нем думает.

Но Парис не слушал, к тому же Афродита так на Елену прикрикнула, приказав утешить своего протеже, что той ничего другого не оставалось, как уступить поверженному, но не слишком расстроенному поражением Парису.

Итак, победил Менелай, и все ожидают, что теперь, как и было договорено, войне – конец. Так что ахейцы сидят, опять играют в кости на перевернутых щитах и ждут, когда Менелаю выведут его Елену и вынесут остальное похищенное имущество и всем им можно будет отплывать по домам.

Однако вместо этого Гера вероломно убеждает одного из троянцев выстрелить со стены. Стрела ранила Менелая. Рана неопасная, стрела только рассекла кожу, но крови много. Ахейцы взревели. Агамемнон, увидев окровавленного брата, пришел в полную ярость. Братание на пляже и вчерашние шашлыки забыты, перемирию – конец. Опять троянцы показали свое вероломство. И опять начинается жуткая битва.

В лагере данайцев на войну смотрят уже как на рутинное дело: с наступлением ночи воюющие стороны забирают с поля боя своих убитых, а кто остался в тот день в живых,

³³ *Tanec* – род гобелена (*греч.*). От этого слова произошли английское *tapestry* и французское *tapisserie*.

³⁴ Парис становится новым мужем Елены, хотя ни словом не упомянуто о ее разводе с Менелаем, что свидетельствует: процедура развода у древних греков была предельно упрощена.

решают поплавать, помыться, потом возжигают поодаль погребальные костры, потом приносят жертвоприношения, переходящие в обильный ужин. Затем ахейцы идут на корабли спать, а утром все начинается снова. И так – год за годом. Но мы не будем передавать все события десятилетней войны, а сосредоточим внимание на любовниках и на тех, кто к ним непосредственно близок.

Парис у папаши Приама наверняка ходил в любимчиках, потому что у него, единственного из сыновей, в Трое – отдельный дворец, остальные вместе с семьями жили во дворце Приама. Не исключено, однако, что просто никто из женщин семьи не захотел общаться с «презренной» Еленой, потому им с Парисом и была выделена отдельная жилплощадь. И вот, когда бы ни описывал Гомер прекрасную Елену, она все сидит и ткет, сидит и ткет тапесы, только изредка, когда зовет ее Приам, поднимается на Скейские ворота. Потом – опять ткет. Или уступает желаниям Париса. И – снова за ткацкий станок. Да, то что начиналось как захватывающее любовное приключение, не могло не превратиться за десять лет в монотонную супружескую обязанность. Тем более что из Трои – никуда: десятилетняя осада. Однако на то, чтобы покончить с собой, дабы устранить себя как причину войны, у Елены не хватает то ли решимости, то ли отчаяния.

Хотя надо отдать Елене должное: у нее хватает ума на то, чтобы выглядеть виноватой. Действительно, ее окружает семья, которой она ежедневно приносит одни страдания. Взять хотя бы Андромуху, супругу Гектора – добродетельную жену и мать, уважаемую во всей Трое. Каким может быть ее отношение к этой смазливой беглянке, из-за которой разгорелся весь этот сыр-бор? Скрепя сердце она вынуждена снаряжать, провожать на битву и на очень возможную смерть обожаемого мужа Гектора. И смотрит Елена на то, как обнимает Андромуха Гектора в последний, может быть, раз, как плачет его малыш Астианакс, пугаясь плюмажа на отцовском шлеме, как грустно улыбаются мать и отец, как Гектор снимает шлем, чтобы не пугать малыша, и целует в последний раз сына. И как идет к воротам, чтобы вступить в битву. И все – и Андромуха, и Елена, и сам Гектор – предчувствуют, что он – погибнет. Из-за Елены и своего непутевого братца.

Но это – потом, а пока Гектор – самое страшное троянское оружие. Одним своим видом он повергает ахейцев в ужас. Даже Менелай старается держаться от него подальше.

Песок троянского пляжа стал уже совершенно бурым от крови. Но бойцы продолжали разжигать друг друга оскорблениями и вошли уже в такую стадию остервенения, когда им становится безразличным всё, когда из их мира уходят звуки, мысли и чувства, когда только их руки продолжают одержимо рубить, рубить и рубить...



Менелай и Патрокл (Лоджия Деи Ланци, Флоренция, ок. 230 г. до н. э.)

Перевес сил – явно на стороне троянцев, они все больше оттесняют ахейцев назад, к их кораблям. Потому Ахилл, который все еще обижен на Агамемнона, все-таки посылает своего друга Патрокла, тоже знатного бойца, помочь ахейцам и одалживает ему свои доспехи, которые включают шлем, полностью закрывающий лицо. Ахилл с Патроклом примерно одного роста и комплекции. Гектор думает, что это вернулся сам Ахилл, и радуется возможности вывести из строя лучшего вражеского бойца. И убивает Патрокла. Он вскоре обнаруживает ошибку, но чувство досады быстро улетучивается – оттого что в руках его оказывается ценнейший трофей – великолепные доспехи Ахилла.

Вот тогда Ахилл уже по-настоящему свирепеет от гнева, скорби и в чем-то – от чувства вины: ведь это он послал Патрокла на битву! Его уже не радует даже то, что Агамемнон, видя, что дела ахейцев без него, Ахилла, плохи, возвращает ему Брисеиду, поклявшись, что и пальцем ее не трогал. Ахейцы молчаливо смотрят, как «Пелеев сын» крушит все вокруг, и понимают, что Гектор – уже покойник. Мать же Ахилла, Фетида, узнав, что сын лишился доспехов, заказывает божественному кузнецу Гефесту другие, еще лучше прежних. Что тот и исполняет с бесподобным искусством.

Ахилл рвется в битву, но мудрый Одиссей успокаивает его, он говорит, что гоплитам нужно за ночь отдохнуть, потом утром позавтракать – на пустой желудок много не навоюешь, а там уж ни Гектор, ни другие троянцы от него не уйдут. Ахилл неожиданно и вправду успокаивается и дает Одиссею себя увести.

Наутро даже в Трое – вдалеке от берега, за толстыми стенами – слышали, как ревет штормовое море. Водяные валы, почти такие же высокие, как мачты вытасченных на берег ахейских триер, обрушивались на корабли и людей.

Ахилл подходит к стенам Трои.

И начинает страшно кричать, вызывая Гектора на бой. Афина, говорят, усилила его голос, сделав его громоподобным. Он перекрикивает даже рев моря. Елена зажимает уши.

Истерически визжит и ребенок Гектора, и Андромаха пытается его успокоить на Скейской стене.

И под всю эту какофонию медленно, увязая сандалиями в песке, выходит Гектор навстречу Ахиллу. Оба они знают, что один из них не выйдет из этого боя живым, но ни один пока не знает, кто именно.

Вот быстроногий Ахилл, набирая скорость, бежит навстречу противнику – с ног до головы в Гефестовых латах, как средних размеров танк. Гектор смотрит на него, приближающегося, и вдруг понимает, что живым из этого боя не выйдет именно он. И поворачивается, и бежит от Ахилла. И так двое взрослых, атлетически сложенных мужчин в старательно начищенных доспехах носятся друг за другом вокруг городских стен, как во время олимпийских состязаний. Но, в отличие от тех, здесь забег – не за олимпийский венок. Горячий песок, страшная жара, доспехи тяжести неимоверной, которые к тому же раскаляются под солнцем. Взгляды всех – и на стенах Трои, и в войске ахейцев – следят с разным выражением, напряженно и молча, за этими двумя бегущими людьми. И все понимают, что десятилетняя драма приближается наконец к развязке. Немая сцена, только чайки заходятся криком, и в воздухе – тяжело, как перед грозой...

Гектор увидел, и взял его страх; оставаться на месте
больше не мог он...
Словно сокол в горах,
из пернатых быстрейшая птица
вдруг с быстротой несказанной за робкой несется голубкой...
Сильный бежал впереди, но преследовал много сильнейший...
Так троекратно они пред великою Троей кружились,
быстро носясь...
Гектора ж в бегстве преследуя, гнал Ахиллес непрестанно...³⁵

Гектор пошел на следующий круг. Они бегут и бегут. Страх смерти подгоняет Гектора, жажда мести – Ахилла. Усталости не выказывает пока ни один. А на все это смотрят обе армии. И боги. И не знают уже, что думать. Наконец, богам, наверное, надоело, и Афина принимает облик брата Гектора Деифоба. Мнимый Деифоб выходит из ворот якобы Гектору на подмогу и говорит, чтобы брат смело принимал бой: теперь их – двое! Гектор останавливается. И тут его настигает Ахилл, а «Деифоб» растворяется в воздухе. «Не... чест... но», – только и успевает прохрипеть Гектор, прошитый насквозь Ахилловым копьем.

Ахилл снял шлем (его красивое лицо портила в тот момент жестокая гримаса), привязал труп Гектора за ноги к своей колеснице и начал гонять колесницу вокруг троянских стен, уродуя труп о камни, прямо на глазах стоявшего на Скейских воротах Приама. Приам не выдержал такого страшного зрелища. Ночью он пробрался в лагерь врага и бросился Ахиллу в ноги, моля отдать тело сына. Ахилл неожиданно принял троянского царя как дорогого гостя, выразил сочувствие и выполнил его просьбу...

Но и после гибели Гектора взять Трою ахейцы не могли, как ни пытались. Даже священную статуэтку Афины Паллады из города похитили специально посланные данайские лазутчики, думая, что именно благодаря ее магическим свойствам и держится Троя. Но ничто не помогало. Между тем троянцы узнали ахейскую военную тайну – про Ахиллово слабое место, пятку. Говорят, это сообщила им какая-то из бывших наложниц героя, которой он после любовных утех рассказал забавы ради историю с погружением в Стикс, не придав

³⁵ «Илиада» в пер. Н. Гнедича.

рассказу особенного значения. Теперь троянцы знали: попав в пятку, Ахилла можно убить. Что Парис, выбрав нужный момент, в итоге и сделал, причем – отравленной стрелой, чтоб уж наверняка. Для близкого боя троянский любовник совершенно никуда не годился, а из лука у него получалось гораздо лучше. Долго, наверное, сидел он на городской стене и выжидал...

Вот не стало и Ахилла, и мать Фетида долго оплакивала его с наядами, а потом забрала прах сына к месту вечного упокоения – на далекий остров Люцея³⁶.

А Троя все стояла неприступная, и ахейцы совсем теряли надежду на победу и начинали роптать все сильнее. Одиссею пришлось даже взять в руки палку и применить к бунтовщикам методы физического внушения. Он теперь, Одиссей, по непонятной причине после десяти лет бесплодной осады больше всех стоял за войну до победного конца, убеждая даже начавшего сомневаться Агамемнона, что до взятия города – совсем недолго.

А потом пришел черед Париса. Уже в конце войны он был смертельно ранен в одном из ежедневных сражений. Такая досада: его боевое искусство от постоянной практики постепенно улучшалось, он стал меньше паниковать, и даже Гектор, пока был жив, начал обсуждать с ним военные дела как с равным, даже более того – как с товарищем по оружию. Но с Менелаем Парису ни в одном бою встретиться почему-то так и не пришлось.

...Парис не видел, откуда прилетела роковая стрела. С поля боя его принесли домой, к Елене. Вот тут-то он наконец осознал, что это – конец, и преисполнился ужасом. Задышавшись и дрожа, протягивал он ко всем руки, умоляя, чтобы послали за его давней подружкой, лесной нимфой Эноной. Она могла бы вылечить его: нимфы знали чудодейственные целебные травы. Но Энона отказалась лечить бросившего ее ради Елены Париса. Он умер, а Елена стояла столбом, словно смотрела на что-то никому не видимое, и почему-то не голосила, не царапала себе лицо и грудь, как полагалось бы добропорядочной троянской вдове. Свекровь Гекуба и золовка Андромаха оттолкнули ее. И со стенаниями, вырывая у себя волосы, начали перечислять достоинства усопшего. Потом к ним присоединились и все другие женщины. Все, кроме Елены...

Троя, может быть, и никогда бы не пала, если бы Афина не надоумила данайцев на фокус с деревянным конем. Правда, Одиссей потом стал всем говорить, что это с самого начала была его собственная идея.

В общем, залатали осаждающие свои избитые непогодой и использованием в качестве наземных жилищ триеры и, инсценировав отплытие, оставили на пляже огромного деревянного коня, на котором написали: «Дар Афине от благодарных данайцев» или что-то вроде этого. А сами между тем отлично укрылись за островом Тенедос, находившимся неподалеку, но на таком расстоянии, что со стен Трои даже мачт их кораблей видно не было.

И вот просыпаются однажды утром троянцы, потягиваются, смотрят со стены на пляж, ожидая увидеть ставшие уже неотъемлемой частью пейзажа корабли данайцев-ахейцев, и... начинают яростно тереть себе глаза: что за дела?! Кораблей-то – нет! Данайцы... уплыли? Сняли осаду? Даже своим глазам поверить боятся: столько лет торчали на берегу эти треклятые триеры, уже подросло целое поколение троянских мальчишек, ни разу не подходивших к морю. За десять лет троянцы забыли и вкус свежей рыбы.

А тут... Неужели – конец осаде?!

В полдень уже совсем стало ясно, что ахейско-данайское войско убралось восвояси. На пляже – пепелища от костров, какие-то зловонные тряпки, выброшенная обувь, черепки, всякий другой мусор от многолетнего военного лагеря. И стоит непонятная деревянная громадина странной формы, напоминающая коня. Дерево свежее, еще смола сочится. И многие начинают понимать, почему так вяло шла последние несколько недель война и почему так

³⁶ Совр. остров Змеиный в Черном море.

явно поредели отряды ее участников с ахейской стороны: остальные-то, видно, валили лес на склонах Иды для постройки вот этого чудовища! Экстрасенс троянский Лаокоон вскинулся: «Бойтесь данайцев с их дарами!» И закричал, чтобы не трогали коня и близко не подходили, а лучше всего – сжечь его прямо здесь, на пляже. Засомневался Приам. Но тут выползли из моря две огромные змеи и задушили Лаокоона и двоих его оказавшихся поблизости сыновей. Змей наслала, естественно, Афина.

Змеи задушили Лаокоона и сыновей, спасти их никто не попытался, а троянцы невозмутимо принесли катки, канаты и... покатили коня в город, чертыхаясь, какой он, зараза, тяжелый! И – ни тени сомнения! И люка в брюхе у коня ну абсолютно никто не заметил. А насчет Лаокоона – ну, может, подумали, что для экстрасенсов и их сыновей такая смерть – совершенно нормальное явление? И не терпелось всем хорошо отметить снятие осады, открытие первого за десять лет пляжного сезона и нажарить наконец-то тут же кем-то наловленной рыбы. Хотя, к слову сказать, остается лишь удивляться, что осажденные за столько-то лет не испытывали никакого недостатка в продуктах питания. Полагают, что каким-то образом в город постоянно проникали подкрепления из Месопотамии. Значит, связь у троянцев с внешним миром все же была налажена. Возможно, прорыли подземный ход. За десять-то лет можно было прорыть!



Жрец бога Аполлона Лаокоон, нарушивший волю богов (работа родосских ваятелей Агесандра, Полидора и Афинодора, Ватикан, музей Пия-Климента)

В общем, радость троянцев была неопишуемой. Приам открыл для всего города винные погреба, и виночерпии опрокидывали амфоры прямо в мраморный бассейн на центральной площади. Каждую следующую амфору народ встречал радостным ревом: пей, троянцы, гуляй до утра! До похмелья дожили далеко не все...

Все свершилось точно так, как и предсказывала Кассандра.

Истомившиеся от долгого сидения в деревянном коне ахейцы (среди которых был и Менелай) открыли люк, попрыгали, стараясь не шуметь, из деревянного коня на буквально усталенную пьяными троянцами площадь, справили у основания городской стены нужду (сутки почти в деревянном брюхе просидеть – не шутка!), потом поднялись на стену.

И подали сигнал ахейскому флоту, чтобы шел к берегу. И – начали резать защитников Трои. Хмельных от вина, заснувших, даже не выставив часовых, счастливых от того, что пережили эту войну...

Старик Приам был заколот в своей спальне. И – вот уж совсем бесчеловечно: со стены, прямо на каменный выступ фундамента, ахейцы сбросили сынишку Гектора, младенца Астианакса, который к тому времени только научился самостоятельно ходить. Говорят, это сделал какой-то рыжеволосый парень, обезумевший в пылу кровопролития, как это бывает с неопытными солдатами. Видели, что вокруг него на широкой стене кипел бой, а он – вдруг остановился, странно на всех посмотрел, словно только теперь осознав, что сотворил, замер, а потом ступил со стены вниз и сам через несколько мгновений превратился в мешок с изломанными костями.

Менелай наконец отыскал свою вероломную Елену. В доме Деифоба, брата Париса, – к тому она перешла как эстафетная палочка. К каким уж уловкам прибегла Елена, чтобы оправдаться, – неизвестно, но головы он ей, ко всеобщему удивлению, не снес, и многие были справедливо разочарованы, особенно если учесть, какое количество жизненных нитей перерезали из-за нее своими бронзовыми ножницами неумолимые мойры³⁷.

Кровопролитие в городе продолжалось три дня. В боевом угаре ахейцы осквернили грабежом даже местные храмы почти всех олимпийских богов и богинь. А боги уже ни во что не вмешивались, просто ошалело смотрели с высоты на людей, и, кто знает, что думали они в тот момент о смертных...

* * *

Человек сидел у костра на берегу и смотрел на предрассветное небо, словно чего-то ждал. Рядом с ним стоял глиняный кувшин. Время от времени он отхлебывал из него вино, и взгляд его становился все тяжелее. От запаха гари трудно было дышать. Стены Трои походили теперь на челюсти с выбитыми зубами. Город еще горел. Ахейские корабли готовы были к отплытию домой, теперь уже – без обмана. К человеку у костра подошел другой – широкоплечий, тяжелый. Молча сел рядом.

– Ну, вот и всё, – сказал тот, что ждал рассвета, и протянул подошедшему свой кувшин. Тот принял кувшин и сделал большой глоток.

– Так и не ложился, Одиссей?

– В море выплусь, Агамемнон. Я раньше хорошо спал в море.

– То было раньше, Одиссей! До войны. – Агамемнон помолчал. – Ты знаешь, я дал уйти троянцу Энею.

Во взгляде Одиссея отразился вопрос:

– Энею?

– Тот троянец, что дрался не хуже Гектора.

– Помню.

– Мы пили с ним вместе тогда, во время перемирия, перед боем Менелая и Париса. Он так странно меня спросил: в чем более славы – разрушить великий город или заложить его?

³⁷ *Мойры* – в греческой мифологии богини судьбы, бродящие с приоткрытыми ножницами по жилищу, опутанному многочисленными нитями человеческих жизней. Зачастую случайно, из-за слабого зрения, мойры перерезают эти нити, сами того не замечая.

– И что ты ему ответил?

– Тогда я ответил, что, конечно, разрушить. Потому что неизвестно, станет ли великим город, который ты заложил. – Агамемнон чуть помолчал. И продолжил: – Эней выносил на плечах безногого отца. С ним были и другие. Все они бежали к своим кораблям, я мог с легкостью догнать их и перебить, но не стал. Он, видимо, хороший сын, этот Эней³⁸. Пусть живет. Я не стал его убивать.

– На тебя не похоже! – усмехнулся Одиссей. И сказал вдруг без всякой связи: – А я просидел всю ночь и пытался вспомнить свою жизнь до войны. Вот даже сына своего совсем не помню. Зовут его Телемах. Это помню, а больше ничего не вспоминается. Плохо...

Агамемнон промолчал. Потом тяжело вздохнул:

– А я помню свою дочь, Одиссей. Хорошо помню. Молю богов, чтоб дали забыть. Не слышат...

Он снова отхлебнул из кувшина. Оба надолго замолчали. Потом Одиссей потер лоб и тихо, словно самому себе, сказал:

– Нет, ничего не вспоминается. Словно и не было ничего до этого в жизни. А может, и вправду не было?

Агамемнон ничего не ответил.

Они сидели спиной к еще горячей Трое, и им обоим совсем не хотелось оборачиваться, чтоб хотя бы взглянуть на поверженный город.

– А ты знаешь, он ужасно боялся смерти, – снова заговорил Одиссей.

– Кто?

– Ахилл.

– Не больше, чем каждый из нас.

– Больше. Он ведь признался мне, когда я пришел уговаривать его вступить в битву... Помнишь, когда троянцы совсем оттеснили нас к кораблям? – Агамемнон кивнул. – Ахилл посмотрел тогда на меня и сказал: «Разница между тобой и мной в том, что ты не знаешь, как умрешь и когда, а я – точно знаю». Он сказал, что ему невыносима мысль о темноте Аида. Ты заметил, на его триере всегда горели треножники, даже до утра? А Брисеида, сказал он мне, была лишь поводом выйти из битвы и хоть немного продлить свои дни.

– Вот как? Герой Ахилл!..

– Этот страх смерти отпустил его только после гибели Патрокла, он сменился виной, скорбью и жадной мести. Помнишь, он хотел пойти на троянцев и отомстить Гектору сразу же, как только получил свои новые доспехи? А я сказал, что гоплитам нужно сначала отдохнуть, и увел его к себе...

– Не помню, но раз ты говоришь...

– А я помню. Так вот, он всю ночь говорил о Патрокле, только чтобы распалить свой гнев и отогнать страх смерти, который словно стоял и ждал в темноте, готовый подступить в любой миг и сомкнуть руки у него на горле. И чем больше Ахилл боялся, тем больше распался. Это ужасно, что герои знают, каким будет их конец. Как мудро, что мы, просто люди, этого не знаем!

– Великий герой Ахилл – боялся? Даже если ты и не врешь, Одиссей, а я вижу, что сейчас ты не врешь, этому никто никогда не поверит. Сукин сын добыл себе бессмертную славу.

– А мы, Агамемнон? Что добыли себе мы? Что всё это, вообще, было?

– О чем ты?

– Да всё это, эта... *наша* Троя...

³⁸ Эней с беглецами из Трои доберется до Тибра и станет основателем Рима.

Агамемнон опять не ответил и передал Одиссею кувшин с вином. Тот, судорожно двигая кадыком, влил в себя его остаток. Встал и с неожиданной злостью забросил пустой кувшин в море. Тяжело поднялся и Агамемнон.

– Рассветает, – сказал он. – Пора возвращаться на корабли. Ты теперь – к себе, на Итаку? Одиссей лишь неопределенно пожал плечами.

– А я – домой, в Аргос. Как вернусь – выгоню Клитемнестру. Десять лет прошло. Она, видать, совсем уже старуха. Я взял себе в Трое новую жену.

– Знаю. Кассандру. Непростая девица.

– Да, жаль – непростая, но хороша! – Агамемнон мечтательно улыбнулся, но сразу нахмурился: – Вот только не по нраву мне, что лопочет все что-то о неминуемой смерти. Как будто кто-то может ее миновать! Пришлось поучить немного, только тогда успокоилась.

– Будь осторожен. Говорят, она предрекла гибель Трои.

– Да много чего говорят, не всему же верить!

– Не нравится мне море сегодня, Агамемнон. Шторм будет, и сильный – смотри, как наливаются красным небо. Может, повременить с отплытием?

– Нет, я отплываю сейчас. А ты – как знаешь, дело твое. Ну, прощай, Одиссей. Может, когда и свидимся.

– Может, и свидимся...

Совсем рассвело. Небо на горизонте и впрямь покраснело, как воспалившаяся рана. Они постояли друг перед другом, не решаясь ни обняться, ни пожать друг другу руки. Потом повернулись и, увязая в прохладном песке, пошли – каждый к своим кораблям.

Агамемнон и Одиссей были всего лишь людьми и потому не знали, что сразу же по возвращении Агамемнона его жена Клитемнестра, так и не простившая аргосскому царю убийства дочери, много раз вонзит в него небольшой острый клинок. Потом этим же клинком расправится она и с Кассандрой. Та будет долго убегать по гулким длинным коридорам, и крики ее будут разносить эхо.

А возвращение Одиссея с Троянской войны продлится долгие годы, словно эта война не будет его отпускать... Но однажды, через двадцать бесконечных лет, возвращение все-таки состоится: на Итаке увидят оборванного бродягу и с трудом признают в нем царя Одиссея.

Победители отплывали. Вопили чайки. Били барабаны, задавая ритм гребцам. На кораблях царило молчание. Оно всегда приходит к воинам, это молчание, когда утихают последние ликующие победные клики и проходит восторг от ощущения того, что удалось выжить в этой войне. У воинов всегда – грустный финал, это знают даже победители.

Никто на кораблях, словно сговорившись, даже не оглядывался на руины Трои. От ахейского войска за десять лет войны осталось меньше трети, и воинам хотелось как можно скорее оставить позади этот пропитавшийся кровью песок берега. Но они чувствовали, что, оглядываясь или нет, этот берег не отпустит их уже никогда...

Бухта Звучащих Раковин, или История Елены Троянской

Елена стояла на палубе и думала о том, что плывет к своему последнему пристанищу. Все идет по кругу, вот и ее круг близится к завершению.

Показался берег. Гребцы налегли на весла. Родос.

Она, как животное, потянула носом воздух. К соленому запаху Эгейского моря начал тонко примешиваться пряный запах рододендронов, они всегда росли здесь в изобилии. Родос – «Розовый остров».

Еще совсем девочкой она бывала здесь с отцом Тиндареем в гостях у царя Линдоса. Это было уже очень давно, словно в другой жизни, еще до похищения ее стариком Тезеем. Она до сих пор не забыла свое униженное бессилие, когда уже пятидесятилетний победитель Минотавра, не обращая внимания на ее детские протесты, сделал ее, двенадцатилетнюю, женщиной. Но никто не знает будущего, только боги. И даже боги ничего не могут изменить в том, что уже предназначено.

Не знала ничего и она, когда здесь, на Родосе, со смешливой сверстницей Поликсой, дочерью Линдоса, ярким утром они плавали наперегонки в бухте Звучащих Раковин, притворяясь наядами, и ныряли за этими самыми раковинами, которых было на песчаном дне великое множество. Девчонки доставали их, сушили на берегу, прикладывали к уху и слушали, как в их непостижимой, живой, перламутровой глубине шумело море.

В бухту заплывали дельфины, ставшие уже почти ручными, и весело стрекотали, вызывая на игру. А рабыни сидели в тени скал, разложив на солнце белые полотна, чтобы подать вытираться царским дочерям, когда тем надоеет купаться, пили принесенную в красных кувшинах воду и лениво сплетничали.

Белые полотна, черные скалы, красные кувшины на песке. И жаркое, готовое расплавиться, стечь прямо в море пронзительно синее небо.

– Ты – как Афродита, – говорила ей Поликса, хохоча и беззастенчиво рассматривая ее, когда они голые валялись на горячем июньском песке укромной бухты. От смеха у Поликсы смешно морщился веснушчатый нос. – Если бы я была Аполлоном, я бы в тебя точно влюбилась. Я тебе завидую, ты такая красивая, и у тебя должна быть необыкновенная жизнь. А вот меня, скорее всего, ничего интересного не ждет: я выйду замуж за того, кого мне подберет отец, буду рожать и ткать. И так – каждый день.

– Ты всегда можешь ткать узоры, какие не придумал еще никто. И каждый день – разные. И я буду так делать, когда выйду замуж. И тогда мои дни будут разными, и мне не будет скучно.

– А правду говорят, что ты – дочь Зевса? – понизив вдруг голос, спросила Поликса.

– А ты как думала?! Побежали наперегонки?

– Сейчас, сандалии надену.

– А босиком? Давай до той черной скалы и обратно!

Они хохотали, бежали, падали, ноги их увязали в горячем песке.

– Как жаль, что тебе – скоро уезжать. Попроси отца остаться подольше!

Елене тоже совсем не хотелось тогда возвращаться домой. С молчаливой, серьезной сестрой Клитемнестрой ей никогда не бывало так весело.

И теперь, через много лет, она понимала, что это боги давали ей там, на Розовом острове, последние дни счастья...

Тезей

Детство ее кончилось внезапно. По дороге домой с рабынями из храма Афродиты, во время праздника Элефсинии ³⁹, она услышала топот копыт позади, совсем близко, и еще до того, как успела повернуться, чьи-то руки грубо подхватили ее и перекинули, как мешок с поклажей, через спину коня. Дико завизжали рабыни. Зубы Елены клацнули, она больно прикусила язык, и он сразу распух. Елена что-то кричала, лупила лошадь кулаками. Она была уверена, что похитил ее страшный Аид, как когда-то Кору, и теперь ей никогда больше не увидеть света. Она тихо заплакала от бессилия, а после, наверное, потеряла сознание, потому что уже ничего не помнила.

В спартанском порту Гитиум дул сильный ветер, поднимал до небес сухую пыль: в Спарте все лето не было дождей. Корабли укрылись в гавани, за скалами, но даже в такой шторм галера, на которой увозили ее, вышла в море. Всю дорогу она страшно мучилась от морской болезни, но старик-похититель не обращал на это никакого внимания, и после каждого опорожнения ее желудка он, воняя неразбавленным вином, вламывался в нее и начинал свои бессмысленные ритмичные движения, заканчивавшиеся хриплыми блаженными стонами. Сначала ей было больно, а потом все внизу онемело. Онемело, как и она сама. Надо было только потерпеть, и этой пытке всегда рано или поздно приходил конец, а на *те* моменты она просто как бы отделялась от своего тела, и ее сознание жило отдельно.

Тезей слюняво бормотал ей в ухо, что от него, прославленного Тезея, она, дочь Зевса, родит такого героя, какого еще не видывала Эллада. Она не слушала его и только чувствовала, что превратилась в тряпичную куклу – такую, которая была у нее в Спарте, с глупыми, нарисованными на кипарисовом дереве глазами. Ей никогда не нравилась та кукла. Она иногда дралась ею с сестрой, забрасывала ее в угол, роняла в воду. И кукла покорно все это принимала – свесив набок голову и неподвижно улыбаясь ничего не выражавшим деревянным лицом. И вот теперь она стала такой куклой сама, полностью оказалась в чужой власти. Наверное, чем-то она заслужила все, что с нею теперь происходило.

Елена никого не видела, на палубу ее не выпускали, Тезей сам приносил ей воду, свечильник, вино и еду. У нее были только постель и маленький столик, прикрученный к полу, и деревянные стены, раскачивавшиеся с жалобным скрипом. Она не знала, куда они плывут. Но самым страшным была темнота. Она казалась живой, населенной ужасными существами Аида, которые прикасались к ней мертвыми пальцами, стояли за спиной, словно ждали момента, чтобы напасть. Но почему-то не нападали... Она никогда не разговаривала с похитителем, только попросила однажды оставить ей огня. Убедившись в ее «благоразумии», Тезей, уходя, стал оставлять ей зажженную терракотовую лампу, и она больше не оставалась в темноте.

Она не знала, какое это было время суток, и давно потеряла счет дням, но однажды она проснулась и услышала за бортом знакомый стрекот дельфинов. Это были наверняка они, ее с Поликсой друзья, приплывавшие к ним на Родос. Они узнали, что она здесь, они приплыли, чтобы спасти ее и вернуть домой! «Я здесь, я здесь!» – закричала Елена и стала стучать в деревянный борт кулаками и кричать. И они отвечали ей своим стрекотом. Наконец-то ее отец, Громовержец, приказал Посейдону вызволить ее! Она ждала чуда. Ждала долго. Стрекот дельфинов начал отдаляться и наконец прекратился. Она опять осталась одна.

Сразу после ее тогдашнего возвращения с Родоса ее странная мать Леда, которая всегда, сколько Елена помнила, жила в своем, закрытом для всех остальных мире и словно

³⁹ Праздник Элефсинии отмечался осенью. Связан с мифом о похищении Кору, дочери богини Деметры, богом Аидом.

не замечала собственных четверых детей, вдруг ласково взяла ее за руку, позвала к себе в спальню и рассказала ей нечто, удивившее ее и обрадовавшее.

Так узнала Елена, что она и впрямь вовсе и не дочь Тиндарея, а, страшно сказать, – самого Зевса... Мать совершенно беззастенчиво рассказала дочери о своей плотской любви с Громовержцем, принявшим облик лебедя, и как это было прекрасно, каким мягким был пух на его груди, какими нежнейшими были его крылья. Леда счастливо улыбалась, не понимая, почему счастье может быть постыдным. Елене сразу стало ясно, о какой похотливой птице рассказывали однажды на кухне рабы – размахивая руками, словно крыльями, хохоча и неприлично двигая бедрами. Многие, в том числе и отец Тиндарей, считали, что боги отняли у ее матери разум. А Елена матери поверила. Слишком уж сильно отличалась Леда от всех живших во дворце женщин. Эгейское солнце было бессильно перед ее белоснежными лицом и телом, они словно светились изнутри.

После разговора с матерью Елена, взглянув на свое отражение в отполированном бронзовом диске, служившем ей зеркалом, увидела вдруг, что и ее лицо на минуту словно озарилось изнутри. Впрочем, ей могло просто показаться. Но так было замечательно сознавать, что вовсе не морщинистый Тиндарей, вечно ведущий учет своему добру и всегда монотонно отчитывающий ойкономоса⁴⁰ за то, что слишком много уходит в хозяйстве меда и козьего сыра, а сам Зевс – Зевс страшный, но великий и мудрый! – и есть ее настоящий отец. И она молила этого отца о помощи все время, пока сидела в деревянном мешке на триере Тезея. Но отец оставался глух к ее мольбам. Или он был занят? Или наказывал ее за что-то так страшно? Или... ему было стыдно за такую дочь? А может быть, мать Леда и впрямь была сумасшедшей и все придумала?

В городе Афидне, куда ее привезли – Елена, конечно, и понятия не имела, что это было за место, – Тезей препоручил ее своей матери и, к счастью, вскоре уехал, избавив ее от своего невыносимо тяжелого тела. Старая гарпия⁴¹ с отвислым подбородком и седыми космами сторожила ее неусыпно. Комната Елены была на верхнем этаже. Когда отлучалась старуха, с пленницей постоянно находились здоровенные безмолвные фракийские рабыни – они, словно на посту, стояли у единственного окна. Елену одели в красивые туники, поднесли золотые украшения. Серьги, браслеты и ожерелья были очень красивыми, и ей понравилось менять их каждый день. Ей умащали волосы душистым маслом, ее вкусно кормили, разрешали оставлять на ночь огонь. Попытка бежать представлялась пока бессмысленной: она знала, что в этом городке, которого она толком и не видела, так как везли ее с корабля ночью, ее найдут и все равно вернут. Но она все время думала о побеге.

Ей дали очень хорошую ткацкую раму и разноцветной пряжи. Она всегда любила ткать большие розовые цветы и дельфинов. Однажды старуха вошла к ней, долго молча смотрела на ее работу, ни с того ни с сего глубоко вздохнула, погладила ее по голове и быстро вышла. От неожиданной ласки у Елены перехватило горло. Она подумала, что, может быть, эта старуха не такая уж и гарпия. Вот если бы только никогда не вернулся Тезей! Елена сама направляла челнок, сама двигала ткацкую раму, она сама решала, с каким узором выйдет ткань. И от этого уже чуть меньше чувствовала себя деревянной куклой.

Так прошло очень много дней.

Но однажды внизу на улице начался какой-то переполох. Рабынь кто-то громко позвал, и они убежали, плотно заставив окно деревянной решеткой на засовах, отчего в комнате сразу стало темно. И в ту же минуту Елена услышала под окном тихий переливчатый свист. Этот свист был ей очень знаком: так ее брат Полидевк обычно подзывал свою лошадь. Она подошла к решетке и увидела в ее просветах своих братьев – Кастора и Полидевка. Они

⁴⁰ *Ойкономос* – управляющий, мажордом (греч.).

⁴¹ *Гарпии* – в греческой мифологии уродливые, агрессивные женщины-птицы.

подавали ей какие-то знаки. Но Елена сразу отпрянула от окна, потому что из-за вышитого полога, служившего дверью, внезапно вошла мать Тезея.

Ночью братья, переодевшись рабынями, выкрали Елену из-под самого носа ее сторожей. Они также захватили из конюшен Тезея двух прекрасных кобылиц с крутыми крупами, которыми герой дорожил больше всего на свете. Братья-спасители были немногословны, да и времени на разговоры у них не было – в укромной бухте ждала под парусами спартанская биера, они только напрямую, без экивоков поинтересовались у сестры, не обрюхатил ли ее Тезей. А она стояла и молчала, только теребила край пеплоса. Тогда Кастор махнул рукой и сказал брату: «Да не так-то это просто теперь старому хрычу, не тот он, что раньше!»

В пути Елена машинально жевала обычную еду моряков – пресные сухари, сушеный виноград и вяленую козлятину, пила разбавленное вино. И не произнесла ни с кем ни слова. За время плена она как-то отвыкла от разговоров. Морская болезнь в этот раз не мучила, да и море было спокойнее – братьям всегда благоволил Посейдон. Весь обратный путь в Спарту Кастор и Полидевк пировали на качающейся палубе с друзьями, помогавшими им в их предприятии, хохотали и вспоминали все подробности приключения, представляя в лицах, как Тезей обнаружил пропажу.

Порой налетал ветер, и тогда горизонт вздымался перед носом корабля, а потом проваливался куда-то вниз, и в такие мгновения казалось, что они плывут прямо в небо. Гребцы монотонно выкрикивали свое «И-хо!», и этот монотонный, повторяющийся звук доводил Елену до истерики – он напоминал ей прежнее ее «путешествие» и «любовь» Тезея. Мужчины, услышав громкие рыдания Елены из-под навеса в углу палубы, замолкали, но уже через минуту продолжали свои разговоры и смех, лишь многозначительно переглянувшись: «Эх, бабы, поди пойми их! Увезли от старого козла, а она рыдает! Ну ничего, дома сядет за родную прялку и успокоится!» «А может, ты остаться хотела, сестрица? Может, тебе старые козлы больше по душе?» – гоготали хмельные братья и их лихие друзья.

Бесконечное «И-хо!» гребцов, скрип деревянной палубы и весел, плеск моря, нервное ржание похищенных кобылиц Тезея, запах свежего конского навоза. И злость, постепенно и мощно растущая внутри, вытесняющая жалость к себе, бессилие и прежнее желание умереть. «Проклинаю тебя, старый бородатый похотливый чурбан на Олимпе! Слышишь?! Это мне стыдно за тебя!» – громко прокричала девчонка неожиданно сильным, без всяких слез, голосом.

Она вдруг почувствовала легкость в мочке левого уха. «Потеряла серьгу. Наверное, обронила у борта». Резко встав, Елена пошла к борту. Разговоры и смех сразу оборвались. Братья бросились к ней – в страхе, что она намерена прыгнуть в море, но Елена повернула к ним лицо, на котором уже совершенно высохли слезы, и они остановились от ее властного взгляда. «Не бойтесь. Не выпрыгну. Всех кобылиц вы домой довезете в сохранности!»

Мужчины напряженно замолчали. И – молчали до самого вечера, и никак не могли сосредоточиться: у всех перед мысленным взором так и стояла растрепанная девчонка с одной длинной сережкой в ухе и в мятом синем пеплосе. Они вдруг поняли старого Тезея. В этой красивой девчонке, во всех ее движениях волнами перекатывалась странная, необыкновенная порочность, не виданная ими ранее ни в одной другой, даже самой падшей женщине, каких столько было во всех портах. Порочность Елены обещала редкое, первобытное наслаждение, о каком с ранней юности томительно и напрасно мечтает каждый мужчина. И самое притягательное было то, что девчонка выглядела при этом абсолютно невинно, явно не подозревая об этом своем ужасном свойстве. И те, у кого были семьи, мысленно возблагодарили богов за то, что ни жен их, ни дочерей не постигла такая беда.

Женихи

Прошло несколько лет, и каждый год был похож на предыдущий, как ее неразлучные братья-близнецы Диоскуры, которые странствовали теперь где-то по Аттике. Елена прекрасно поняла, зачем однажды утром, как раз после праздников Анфестерий⁴², Тиндарей позвал ее и знаком предложил сесть на низкую скамью у жарко горящего очага. На подворье было шумно: во дворце стояло много гостей. Она прекрасно знала, кем были эти гости и зачем они прибыли.

Тиндарей в присутствии красавицы дочери всегда чувствовал себя неуютно, словно его посадили на пилон со змеями.

– Елена, решено, что ты должна выйти замуж за Менелая, сына Атрия. Хоть ты и потеряла себя, но тронутый солнцем виноград для иных – слаще свежего, потому и налетели к тебе эти женихи, как мухи на виноградную яму. И чем скорее ты выйдешь замуж, тем всем нам будет спокойнее. Ты и представить себе не можешь, во сколько обходится мне каждый день, который они проживают во дворце, – корми их самих, их слуг, рабов, лошадей. Да и дрова для очагов заготавливай – скоро оливы рубить придется. И так – каждый день. Скоро эти женишки, будь они неладны, опустошат все кладовые, мышам нечем будет полакомиться.

– Но ведь они все привезли тебе подарки. Коней теперь – в конюшне места нет, а вин, сыров, говорят, слугам уже девать некуда. И мне пряжи привезли – с золотой нитью!

– Пряжи ей привезли, она и рада. Одиссей, например, тот вообще с пустыми руками явился с Итаки, корми его с архаровцами! Говорю тебе, сожрут скоро весь дворец, если жениха скорее не назвать и свадьбу не назначить. Всю Элладу вот уж, считай, без малого месяц содержу! Ты – что Сирена беззвучная, всех влечешь. Да только беда-то вот в чем: как остальным скажешь, что я одного из них уже выбрал, – обид будет, ссор! Горячие головы еще войной пойдут! А мне не до войны уже, покоя, и одного лишь покоя хочу на старости лет. И ведь только двое, Агамемнон и Менелай, имеют в Элладе вес, это – тунцы, а остальные – так, кефаль серебристая. Ну, Агамемнон – уже муж Клитемнестры, сестры твоей, и, значит, серьезный претендент остается всего один – брат его Менелай. Однако, кого ни назови – остальные же набросятся на него, точно свора собак! Беда и раздор придут в Элладу! Вот возьми хоть Одиссея! Кто его знает, зачем его ветры принесли с Итаки, неужели поближе девицы не нашлось? Еще один женишок – Тлеподем. Тот вообще оставил жену и дочь, и, зачем он здесь, неизвестно. Нет, Елена. Замуж! Замуж, да поскорее.

– Тлеподем – это муж Поликсы, дочери царя Линдоса?!

– Он самый и есть.

– Так это что... Это значит, он оставил... Поликсу?..

– Ну оставил. Видно, надоела. Надеется тебя привезти на Родос, а той – объявить, чтобы либо искала себе нового мужа, либо уходила... Как водится. А ей так и надо, лучшего она не заслужила.

– Погоди, отец, что это значит – «лучшего не заслужила»... Что с ней случилось?

– С Поликсой? Наказали ее боги.

– Как?! За что?

– Тлеподем, говорят, еще юношей случайно убил на охоте дядю своего, Гераклида. Ну и все семейство Гераклидов на него ополчилось и изгнало его. Мотался он по морю, мотался, и принесла его нелегкая на Родос. Линдос сначала принял его приветливо. А Поликса влюбилась, дура, и поразило ее безумие.

⁴² Праздновался зимой.

– Так она безумна!

– Да нет, слушай! Линдос с Тлеполем однажды устроили пирушку, напились и затеяли пьяную драку. Тлеполем – моложе, ловчее, ну поставил, подлец, старику Линдосу синяк под глазом. А Поликса была уже от наглеца брюхата. Сказала она отцу об этом или нет – не знаю, только всё одно: после драки с Тлеполемом нашел Линдос Поликсе жениха, и никаких ее слез слушать не захотел. Нечего дуре потакать, не ложилась бы под наглеца.

– Несчастливая! И чем же все это кончилось, отец?

– Плохим, вот чем! Опоила она Линдоса и ночью зарезала. А Тлеполем на ней женился и стал на Родосе царем. А вот теперь – тебя сватать приехал. Каков наглец! Но речь не о нем, ну их всех! А слушай вот что: Атриды – мои союзники и друзья. Это сильнейшие и толковейшие в Элладе цари и преданы мне. Спарта за ними – как за каменной стеной. Потому пойдешь за Менелая и ни за кого более.

– Что ж... отец, твоя воля. Пойду, за кого скажешь. Но не за того, кто сюда от живой жены прибыл.

Ночью Елена, которой никогда во время полной луны не спалось, бродила по темным коридорам дворца. И вдруг услышала в соседней комнате голоса. Один, густой, властный и слегка хмельной, поучал:

– Пора тем, кто мнят себя твоими соперниками, убираться восвояси. Тебе Тиндарей Елену отдаст, тебе, сыну Атрия. Но знай: распустишь ее – беда. В кулак ее зажми, как я свою Клитемнестру, – и пикнуть она у меня не смеет. Верные люди мои при ней денно и ночью, все доносят – мышь к ней не прошмыгнет. А Клитемнестра хоть и недурна, да с ней хлопот не столько, сколько с этой может случиться. Хороша Елена, стерва спартанская, ох хороша! Хотя Тезей ее уже – как червяк яблоко прогрыз! Тяжело тебе будет, брат, если сразу ее в кулаке не зажмешь. Бесчестье – хуже смерти. Мертвому – один погребальный костер, рогатому – сотни костров каждый день: насмешки, намеки, шуточки. И сколько ни сруби голов, все равно останется их достаточно, чтобы вдоволь позлословить у тебя за спиной.

– Тебя послушать, брат, так нет ничего лучше, чем на кривой и хромой старухе жениться, – никто уж не позарится, – отозвался другой голос. – А Тезей Елену силой же взял, ребенком еще, все знают. Вины ее в том не было.

– Ребенком! Эх, не знаешь ты бабьего коварства, Менелай. Ни одну не украдут, если сама того не захочет.

Она заторопилась прочь, страхась услышать, что ответит на это Менелай.

Через несколько дней, во время шумной ночной пирушки с Тиндареем, по совету многоумного Одиссея все женихи – и Тлеполем с Родоса, и сам он, и Патрокл, друг Ахилла, и Аякс, и Диомед, и другие – согласились, что выбор мужа нужно предложить самой Елене. А те, кому не повезет, должны погрузиться на свои корабли и уплыть восвояси, однако поклявшись не таить на избранника зла, никаких препятствий ему не чинить, а наоборот, содействовать ему во всем, если он призовет. Каждый охотно принес клятву, втайне считая, что именно он имеет все шансы оказаться избранником. А наутро Тиндарей объявил, что Елена выбрала Менелая.

На следующий день из Гитиума отплывало множество галер.

Под огромным голым платаном, на тонком снегу надрывно мычали и мотали головами предназначенные для гекатомбы тяжелые быки. Из ноздрей их вырывались клубы пара. Быки казались грозными и огнедышащими, хотя на самом деле им самим было очень страшно. Они наклоняли головы, словно готовясь боднуть подползающую невесту откуда смерть, – они ясно ее чувствовали, но никак не могли себе представить. Чтобы работа жрецов была полегче, быкам дали настоя омелы в больших, украшенных ветвями елей горшках, и вот они уже счастливыми, безразличными тушами падали грузно один за другим от молние-

носных взмахов узких жертвенных клинков, успев увидеть лишь нечеткие, расплывчатые, словно дымом очерченные, контуры своей смерти. Голые по пояс забойщики были мускулисты, веселы и спокойны – они отлично знали свое дело. Вскоре они были так забрызганы бычьей кровью, что на холоде от них, как и от кровавой земли, поднимался пар, и казалось, что с них самих содрали кожу. Чуть припорошенная снегом, подтаявшая земля жадно впитывала густую кровь, и это сочли хорошим предзнаменованием: боги принимали жертву.

Менелай

Вскоре после свадьбы Менелай стал царем Спарты. Перед самой свадьбой мать Елены Леда, блаженно улыбаясь, сняла с себя и отдала дочери свои прекрасные украшения из невиданных желтоватых, словно капельки меда, камней. Эти камни стоили очень дорого, и привозили их высокие купцы из стран, где, как говорили жрецы, живут люди, покрытые волосами, как звери, где не растет лоза и где море не синее, а серое, точно ствол оливы, и где зима никогда не кончается. Но Менелай попросил ее никогда не надевать ни эти, ни какие другие украшения, он сказал ей, что честной жене это ни к чему. Она хотела спросить, нельзя ли хотя бы оставить их ей, чтобы она могла пусть изредка трогать их и любоваться ими в своей спальне, но почему-то не стала об этом просить – может быть, из гордости. Украшения заперли в подвале. И пеплосы ей разрешалось теперь носить только с такими широкими плащами-гиматиями, что совершенно скрывали фигуру. Мужская прислуга тоже как-то совершенно исчезла из ее окружения. Но это она заметила в самую последнюю очередь: с самого своего возвращения в Спарту, падшей и опозоренной, Елена все принимала с каким-то коровьим безразличием.

Старый Тиндарей с удовольствием и облегчением человека, с плеч которого упала огромная ноша, удалился вместе с тихой безумной Ледой на покой в добротный дом в горах, до которого от столицы было полдня пути на хорошо отдохнувшем коне. Дом окружали поляны с вечнозелеными пряными кустарниками. Лекарь из Египта, тонкие темные губы которого были словно навсегда искривлены снисходительной усмешкой (он считал ахейцев дикарями и варварами), готовил из ягод этих кустарников старому Тиндарею снадобья для лечения больного желудка. Они помогали, и старик был счастлив. Лекаря Тиндарею подарил Агамемнон. Египтянин и Леде каждый вечер давал какое-то питье, от чего она постоянно находилась в полусонном блаженном состоянии, из которого однажды, так ничего и не заметив, ушла в небытие. Последнее время мать совершенно никого не узнавала, но, когда она умерла, Елене все равно показалось, что теперь-то она точно осталась совершенно одна. Братьев к тому времени тоже не стало. Их убили в Аркадии при попытке украсть чужой скот и чужих невест.

А с Менелаем у Елены все было непросто. Однажды, проснувшись, она увидела, что он, опершись на огромную мускулистую руку, пристально смотрит на нее, спящую. Ей стало не по себе: во взгляде его не было любви – только беспокойство и страх. После Тезея Елена испытывала отвращение ко всему, что касалось физической близости. Как только до нее дотрагивались требовательные мужские руки, в ней словно что-то умирало – она не шевелилась, не издавала звуков, почти не дышала. Даже сердце ее почти останавливалось. Это началось еще на галере Тезея. А Менелаю это нравилось, он принимал это за проявление ее целомудрия. Все во дворце, включая и Елену, знали, что для более энергичных утех царь держит критянскую рабыню, акробатку с мускулистыми, почти мужскими ляжками, умеющую делать сальто на спинах быков, – эту чуждую спартанцам, но модную теперь повсюду забаву привезли когда-то беженцы с Крита⁴³.

⁴³ По многим гипотезам, Минийская цивилизация на Крите и часть самого острова были разрушены извержением

Иногда Елена сталкивалась с критянкой во дворце нос к носу. Акробатка, проданная в Спарту из поселения беженцев в Лидии⁴⁴, расхаживала по дворцу полуголой, наруганной, увешанной бренчащими безвкусными браслетами и с сильным акцентом жаловалась на постоянный холод и ужасную пищу. Елена не устаивала ее разговорами. Критянка презрительно фыркала и зло бормотала что-то на своем наречии. Простая, животная неприязнь этой самки была осязаема и плотна, как ломоть овечьего сыра. Акробатка уже родила Менелая двоих сыновей. Как-то раз, проходя по дворцу, Елена услышала звук, словно кто-то хлопнул в ладоши, и сразу – раздраженный голос Менелая: «Не забывай, кто она и кто ты!» И тотчас вслед за этим критянка выскочила в галерею – с визгливыми рыданиями и горячей смуглой щекой. Елена спряталась за колонну и, к счастью, осталась незамеченной.

Как-то так получилось, что челядь, которую привез с собой в Спарту Менелай, занимала одну половину дворца, а слуги и рабы старого Тиндарея, служившие теперь Елене, – другую. И одна половина другую недолюбливала. Рабы Елены – втайне, конечно, – терпеть не могли ни Менелая, ни его наложницы критянки, в пику пришлым аргосцам бахвалились на кухнях и в конюшнях полубожественным происхождением Елены, их госпожи. На это челядь Менелая издевательски улыбалась. Но злословить не смела.

Весной Елена почувствовала, что беременна. Сначала, на ранних сроках, она была к этому совершенно равнодушна, а потом это состояние начало беспокоить ее все больше.

Физическая близость уже давно превратилась из муки в тягостную неизбежную обязанность, и она к ней привыкла. Но то, что происходило с ее набухающим телом сейчас, пугало и даже злило ее. Раньше ее тело не принадлежало ей только в моменты мужской любви. Теперь ей казалось, что Менелай владеет им постоянно. И ей было страшно – от того, что какое-то существо шевелилось внутри, питалось ее соками. И высасывало то последнее, что еще принадлежало ей.

Перед самыми родами – Менелай был в отлучке, у брата в Аргосе, – ей приснился ужасный сон. Ей приснилось, что она кормит младенца, но не чувствует ни его ручек, ни ножек. Она разворачивает пеленку и видит существо с лицом ребенка и черным чешуйчатым телом короткой толстой змеи. В тот же момент лицо младенца тоже исчезло, и эта все увеличивающаяся змея впилась в ее сосок, и она никак не может ее оторвать.

Елена страшно закричала во сне. На крик прибежали рабыни. И тут же начались роды.

В полдень она уже держала завернутую в белоснежное полотно крепкую девочку. Вернувшийся Менелай был немного разочарован тем, что Елена не родила ему сына, но дочь оказалась так похожа на него и так забавна, что он смягчился и назвал младенца Гермией.

Иногда Елена с тревогой ощупывала спеленатое тельце дочки, а та энергично сучила сильными ножками и ручками, стараясь распеленаться. Тогда Елена успокаивалась. Муж настоял, чтобы Елена кормила ребенка сама – никаких кормилиц! Он любил смотреть на кормящую Елену. В эти минуты жена наконец-то действительно казалась ему воплощением целомудрия и чистоты. А Елена кусала губы и боролась с наворачивающимися слезами, стараясь не выдавать боли: соски у нее оказались плохие, они быстро потрескались и от каждого прикосновения детского рта начинали кровоточить. А дочь была горластой, требовательной и всегда голодной.

Менелай часто отлучался – к деду на Крит, к брату в Аргос. У братьев были большие военные планы. И тогда верная служанка тайком проводила во дворец красивую, ладную молодую кормилицу. Елена смотрела, с какими удовольствием и легкостью кормила эта крепкая ее дочь, и думала, что вот даже быть хорошей матерью не дано ей богами, как не

вулканы на острове Санторин и гигантской волной. Беженцы с Крита после этого расселялись по всей Элладе и Малой Азии.

⁴⁴ Совр. Турция.

дано было стать любящей женой. «Дочь Зевса!» – грустно и горько, вспоминая свою безумную мать, улыбалась Елена.

Ей часто казалось, что само ее появление на свет было какой-то досадной ошибкой. Зачем и кому нужна она – бесполезная и ничего не стоящая? Не для того же она родилась, чтобы ткать гобелены-тапесы, – ими были теперь увешаны все стены ее спальни. Но эта работа превратилась в потребность, в одержимость. За ткацкой рамой наступал покой, которого она больше нигде не могла обрести. Вот только изображения повторялись – розовые и красные рододендроны далекого острова, и раковины, и дельфины, и терракотовые крутобокие кувшины, и белые полотна на песке, и теплое море... Тот счастливый день, оставшийся только на ее ярких тапесах. Она думала о несчастной Поликсе, подруге детства, ставшей теперь отцеубийцей. За что они обе наказаны? И все чаще приходила мысль, что хорошо бы сойти с ума – так же тихо, достойно и прекрасно, как мать. Но даже этого у нее не получалось.

Парис

Праздники в честь Диониса⁴⁵ начались в Спарте так. Ночью страшный порыв ветра ударил ставни спальни о стену, словно дал дворцу пощечину. Погасли едва теплившиеся факелы. С крыш брызнули осколки черепицы. По дворцу забегали слуги, что-то падало, кто-то кричал. Испуганно и тонко завывала собака – или это был ветер? Упала терракотовая лампа и разбилась вдребезги. Менелай крикнул, чтобы принесли огня, и неловко попытался в темноте оттащить колыбель с проснувшейся Гермией подальше от окна. Низкая колыбель перевернулась, Елена едва успела подхватить ребенка. Разбуженная дочка испуганно заревела. Менелай вдруг резко выругался – он поранил в темноте руку. Наконец вбежали с факелами рабы.

Всю ночь ветер зло обламывал протянутые с мольбой в небо, покрытые цветами и завязями ветви. Потом он улегся, и небо оглушительно и сухо прорвал первый раскат грома. Первая после зимы гроза. Хлынувший ливень был женственным, сострадательным, он словно промывал нанесенные ураганом раны. Утром все успокоилось, и сквозь рваные тучи даже выглянуло, чуть виновато, солнце. Люди чинили крыши, ставни, убирали грязь, которую принес на улицы ливень, и говорили о ночном урагане и гневe богов.

На мощенной известняком площади уже готовили гекатомбу, чтобы умиловить Громовержца и начать празднования в честь Диониса. Надрывно мычали быки, и уже разгорались снесенные на площадь обломанные ветром ветки оливковых и миндальных деревьев. Они, еще живые, корчились в пламени, истекая пахучим весенним соком. Елена вдыхала ароматный дым и прислушивалась к густому голосу Менелая. Тот отдавал какие-то распоряжения. Гермия сладко посапывала после тревожной ночи. И как раз в этот час в спартанский порт Гитиум вошли две чужеземные триеры, по виду – троянские. Они были здорово потрепаны ночным штормом.

Во дворце Менелая шумел пир в честь нового союзника Спарты – могучей Трои. Царь Приам прислал-таки сыновей Гектора и Париса скрепить военный союз с братьями Атридами. Это было отличной новостью: решение богатой Трои, контролирующей торговлю с городами на берегах Геллеспонта и Понта Эвксинского⁴⁶, заключить военный союз с Атридами стало результатом усилий Агамемнона и Менелая. Братья понимали, что давление на Трои неразумно: при относительном равенстве сил война могла быть затяжной и изнуря-

⁴⁵ Праздновались весной.

⁴⁶ Черного моря. *Понтос Эвксинос* – «Гостеприимное море», или *Понтос Аксейнос* – «Негостеприимное море», так называли его греки смотря по погоде.

ющей. Гораздо лучше было иметь этот город на своей стороне. Однако царь Приам был известен непредсказуемостью своих решений, и братья, предложив ему союз, не знали, что решит в итоге этот своенравный старик. Но вот – свершилось! Теперь в Элладу не было никого, способного противостоять объединенным силам Приама, Менелая и Агамемнона.

Муж не любил, когда Елена выходила к гостям. Поэтому в тот теплый вечер, пахнувший зажаренным жертвенным мясом и пряным ветром с гор, она гуляла по верхней галерее дворца с Гермией на руках.

Незнакомец вырос перед ней словно из-под земли – белый, как храмовая стена. В следующий момент он перегнулся через балкон, его тяжелое наплечье ударило о камень балюстрады, и его вырвало на кусты жимолости.

– Помоги мне, – пробормотал он со странным акцентом. – Принеси воды, плохо...

Она это и так видела и поняла, что он с пьяных глаз и из-за простоты ее одежд, отсутствия всяких украшений принял ее за служанку. Или, может, за кормилицу. Парень был одет богато – так иногда любил наряжаться чудаковатый египетский лекарь отца: лиловая туника, красивый, очень широкий чеканный пояс с бирюзой, на груди – тяжелое бронзовое наплечье с разноцветными прозрачными камнями. И – широченные золотые браслеты.

Кто это? Как он сюда попал?

Она передала ребенка бесшумно подошедшей служанке и приказала принести воды. Вода и полотенце были тут же принесены.

Парень был смущен, он понял свою ошибку:

– Ты – Елена?..

– Знаешь мое имя?

Он пил жадно. Утерся полотенцем. Расстегнул и снял наплечье, положил рядом, морщась, потер грудь:

– Твое имя многие знают в Элладу.

Она поняла его по-своему и опустила взгляд.

– Прости, что пришлось так некрасиво тебе представиться, царица. Брат и остальные пьют как жертвенные быки, а меня после нескольких чаш уже выворачивает. Я специально с пира ускользнул, чтобы они не видели моего позора и не потешались надо мной. А вот еще хуже опозорился – перед тобой.

Из пиршественного зала снизу донеслись громовые раскаты смеха, словно в ответ на его слова.

– Это не позор. Позор – совсем другое.

– Правильно. Я знаю, что такое позор... – Он понизил голос: – Вот брат мой Гектор – тот настоящий воин, бесстрашный. Гордость родителей. А я... даже пить не умею. И еще честно признаюсь: я ничего не понимаю в их политических союзах и интригах, только прикидываюсь, что понимаю. Мне наплевать, будет ли вся Эллада лежать у ног Трои или нет. Я – чужой в собственной семье. Всё, чего бы мне хотелось, это вернуться к приемному отцу на гору Иду и продолжать пасти стада. Я не герой, не правитель и никогда им не буду. Я был счастливее раньше...



Елена Прекрасная и Парис (Жак Луи Давид, 1788)

Парень сел на пол, прислонившись к стене. Он был явно всерьез расстроен. И уже не выглядел пьяным.

– А я – очень плохая жена и никудышная мать, – вдруг с отчаянной безрассудностью сказала Елена.

Он внимательно посмотрел на нее:

– Прости, Елена, мне нужно идти. Прости меня и, пожалуйста, забудь про это всё... – Он указал на кувшин, на смятое полотенце.

Она налила ему в чашу еще холодной воды, подала, он с благодарностью принял. Она стояла рядом, со странным удовольствием глядя, как жадно он пьет. И неожиданно почувствовала близость к нему – совсем незнакомому, тоже измученному несурзностью его жизни.

В трапезной дворца продолжал шуметь пир. А здесь, на галерее... Вскоре не было ближе людей на земле, чем Парис, сын Приама, царя крепостенной Трои, и Елены, царицы Спарты, жены грозного воина Менелая, в чьей власти была теперь почти вся Эллада.

Лежа в то утро рядом с хмельным, громко храпящим мужем (пир кончился только под утро), она улыбалась. И, глядя в открытое окно, представляла себе звезды мальчишками, ныряющими в утреннее небо, словно в море, прячась от сияющей колесницы Гелиоса, чтобы снова вынырнуть с темнотой, и понимала, что жить, как она жила прежде, уже не получится. Никогда. Вытканые ею тапесы на каменных стенах спальни шевелил утренний ветер, и дельфины на них тоже, как и она, наконец оживали...

Праздник продолжался и на следующий день. А к ночи во дворце раздались тяжелые и тревожные шаги. Это были бородатые мужчины в доспехах, покрытых кристаллами морской соли. Они прибыли с Крита, чтобы сообщить: умер Катрей, дед Атридов, и в порту уже стоит триера. Нужно было незамедлительно отплывать.

Эти похороны должны были теперь показать всей Элладе крепость нового военного союза, поэтому и похороны родича, и жертвоприношения должны были выглядеть подоба-

юще новым повелителям Эллады. Агамемнону об этом сообщили раньше, и он был уже в пути на Крит.

На ходу одеваясь, Менелай спустился к прибывшим. Прощаясь, он нежно провел ладонью по горячему лицу Елены, поцеловал, обдав винным запахом, спящую дочь. Елена слышала, как седлали коней, как дружески прощался внизу муж с вышедшим на шум из гостевых покоев Гектором.

Корабли троянцев были бы тоже готовы последовать на Крит за Менелаем, но плотники не сразу взялись за ремонт из-за торжеств, и ойкономос сказал царю, что мастерам нужен еще только один день, чтобы подготовить троянские триеры к выходу в море. Гектор отдавал распоряжения, начались сборы к отплытию. С гор дул утренний холодный ветер.

И тут Елена увидела Париса. Обнаженный по пояс, он выходил на подворье, сложив руки на груди и зябко подергивая широкими плечами. Под его кожей перекачивались крепкие мускулы, но тело его еще не стало матерым телом воина и было по-мальчишески тонко.

Сердце ее замерло. Первый раз в жизни, глядя на мужское тело, она не испытала ни страха, ни неприязни. Первый раз в жизни ей захотелось дотронуться до мужчины. Чувство было новым. Парис бросил быстрый взгляд на окно ее спальни и продолжал разговор с Гектором. И тут ею овладел ужас. Она прекрасно помнила разговор мужа с управляющим: на закате корабли троянцев будут готовы к отплытию. Значит, от вчерашнего вечера останется лишь память. А дальше – дни, когда она опять будет ждать безумия как избавления. Только теперь, после этой встречи, после новых, никогда прежде не испытанных чувств жить будет еще труднее. Говорят, в горах есть небольшие желтые змейки, укусы которых безболезнен и яд действует моментально... Но именно теперь она, давно безразличная ко всему и отвыкшая от сильных желаний, с удивлением почувствовала, что больше всего на свете ей хочется жить.

Парис зевнул и взглянул вверх, на окно ее спальни. И тут она, неожиданно для самой себя, подала ему знак – подняться к ней.

Быстрым, каким-то птичьим движением он оглянулся по сторонам. Все были заняты своими делами, и никто, кажется, ничего не заметил.

Во внутреннем двореке, разделяющем женскую и мужскую половины, она, оглянувшись по сторонам, схватила его за руку:

– Не оставляй меня здесь... Возьми с собой.

– И ты потом не будешь проклинать меня всю жизнь за эту минуту? И себя – за эти слова?

– Мы не знаем нашего *потом*, только – *сейчас*. А мое *сейчас* таково, что я прошу тебя, человека, которого едва знаю, спрятать меня с дочерью на твоём корабле и увести отсюда! Если боишься или не хочешь – прости. Забудь мои слова и никогда никому не говори о них, я безумна...

Цоканье языка заставило их вздрогнуть. Из-за колонны, ухмыляясь, вышла критянка Тера:

– Так-так-так! Ну и спешка, ну и приспичило! Менелай еще и отплыть не успел на похороны деда, а его добрая жена уже собралась бежать. Муж-то думает, что она чиста, как снег на Олимпе, а она на самом деле такая же сучка, что и мы, грешные циркачки... – Тера подступала все ближе к Елене. – Вот сейчас подниму шум да позову стражу – пусть полюбуются на свою полубожественную госпожу, умоляющую смазливую мальчишку увести ее от живого мужа! А тебе, троянец, видно, свое хозяйство между ног носить надоело. Ты подумал, что илоты нашего царя сделают с тобой прямо здесь, на месте? Менелай ведь наверняка распоряжения им оставил на такой вот случай! Так-то троянцы платят за гостеприимство! – И она опять издевательски зацокала языком. – А тебя, сучка, запрут до прибытия мужа, и

многое бы я дала, чтобы послушать ваш с ним «разговор», да только и в самых дальних уголках дворца мы твой вой будем слышать, еще и уши затыкать придется!

Елена и Парис в ужасе смотрели на кривлявшуюся Тера. А та наслаждалась своей властью над ними. Ей было весело, и она смеялась – переливчато, по-птичьи.

Елена представила, как сжимает пальцы на ее горле, как темная кожа циркачки становится багровой, как чернеют губы, выкатываются из орбит и наливаются кровью глаза, как судорожно начинает она хватать руками воздух, словно пытаясь схватить за хвост свою ускользающую жизнь, но та не уходит, и Тера сдается, руки ее опускаются, тело напрягается в предсмертной агонии, жизнь юркой змейкой ускользает меж камней, и критянка обмякает тяжелой бесформенной массой. И тогда – никаких препятствий.

Но...

– Не бойтесь, – совершенно изменившимся тоном сказала, прекратив вдруг кривляния, Тера. – Не буду я звать стражу и никому не скажу. Еще вчера я все слышала и видела на галерее, как вы плакали друг у друга на груди. Один – сын царя Приама, другая – жена самого Менелая! Вам, несчастным, все было дано с самого рождения, и пальцем шевелить не нужно – дворцы, рабы, почет, а детям – наследственные троны. Это нам, акробаткам пришло, нужно все добывать своими руками. Ну да ничего, руки у нас сильные. Ну, что окаменели?.. А бежать тебе, Елена, я сама помогу. Каждому – своё. Тебе нужен этот не умеющий пить мальчишка, а мне – Менелай. Пусть тогда он сам решает, кто ему настоящая жена. Ну, что скажете?

– Помогите! – неожиданно для себя хрипло выдохнула Елена. Она готова была упасть перед критянкой на колени, но...

Парис ее удержал:

– Не унижайся перед ней! Пусть зовет стражу. Во дворце – мой брат и достаточно троянцев, чтобы тебя отбить.

– А на себя ты, смазливенький, видать, не надеешься! – ядовито ухмыльнулась Тера. – Ладно, время терять нечего. Но – одно условие: Гермiona остается здесь. Ходить за ней стану лучше матери, моим сыновьям сестрой будет! Менелай любит дочь, и это еще больше его ко мне привяжет. Из тебя, Елена, – какая мать? Ты даже кормить свое дитя не можешь. А из этого чуда троянского – какой отец? Посмотрите вы на себя!..

Только очень много лет спустя Елена узнает, что одна из ее рабынь, подслушав этот разговор с злосчастной критянкой, донесла о нем вернувшемуся Менелая. И Менелай, со спокойным и даже деловитым выражением лица так сжал горло циркачки, что не просто задушил ее, а сломал ей шейные позвонки, и голова ее запрокинулась, как у тряпичной куклы. Ослепший от гнева, он не заметил двоих затаившихся в дверном проеме мальчишек – не мигая, те наблюдали эту сцену. Инстинкт самосохранения могуче приказал им молчать, только глазенки их по-волчьи отразили бесноватое пламя масляных светильников.

Море было спокойным, солнце село, небо потухало, меняло цвет, наступала темнота. Триера Гектора вышла из порта первой и взяла курс на Крит, корабль Париса шел следом. Через несколько часов Парис просигналил брату огнями, что делает остановку на острове Кранае, с которого все еще видны на горизонте чернильно-синие спартанские горы. Гектор недоумевал, а еще через несколько мгновений увидел на галере Париса тревожно забившийся, словно пойманная птица, яркий сигнальный огонь, который мог означать только отчаянную просьбу о помощи. Обеспокоенный Гектор направил галеру к острову, чтобы узнать, что случилось у брата.

...Елена знала, что сделала правильный выбор. Что боги благоволят ей. Что все прошлые страдания были посланы и пережиты ею вот за это: за эти волны блаженства, которые беспрестанно прокатывались по ее телу, извивающемуся под телом Париса в полном самозабвении. Две части ее существа, до того мучительно и насильственно разделенные, наконец встретились, слились, соединились окончательно в этом первом ее экстазе, за которым, ей казалось, должно начаться безумие или наступить смерть, потому что после этого к реальности вернуться – *невозможно*. Она теперь понимала, почему сошла с ума мать. Это ее, Елены, отец, добрый и мудрый Зевс, лишил Леду разума, чтобы в памяти ее навсегда осталось блаженство соития с ним. Теперь, закрыв глаза, Елена возносила тысячи благодарностей своему божественному отцу и просила у него прощения. На ней было украшение матери – то самое, из солнечных северных камней. Она успела взять его из сокровищницы мужа – только его. Елена продолжала возносить беззвучные молитвы и потом, когда они с Парисом, той чудной ночью на Кранае, едва одевшись, слушали возмущенного Гектора и... ничего не слышали. Гектор кричал что-то о политике, союзниках, о Менелае, войне, опять о Менелае, Агамемноне, и опять о войне, о том, что надо немедленно возвратиться в Гитиум и вернуть Елену. А она думала только о словах Париса: потрясенный своей любовницей как ни одной до этого женщиной, а их было много, он решил воздвигнуть на этом острове храм Афродиты и сказал об этом Елене. Она уже видела этот храм в своем воображении и знала, что он должен стоять прямо на берегу моря, на отвесной скале, и служить маяком, чтобы свет в нем видели проплывающие корабли... Она была спокойна. Потому что знала: ее не вернут обратно в Спарту – ее Отец этого не допустит. Она уже выдержала все испытания, посланные ей, она – заслужила...

Елена и не подозревала, что совсем неправильно поняла волю своего божественного отца. Что посланное ей блаженство – не награда за прежние несчастья, а дано ей – авансом за будущее. И что платить ей еще предстоит, и платить очень дорого.

Расплата

Ее обителищем стала Троя. Домом она ей так и не стала никогда, ибо только два человека в этом городе почему-то не испытывали к ней ненависти: Гектор и старый Приам. Она проводила дни взаперти, в своей роскошной спальне, опять за неизменной ткацкой рамой. Куда бы она ни пошла, ненавидящие взгляды встречали ее и тянулись следом, как дохлые змеи, которых тянут по песку мальчишки.

Потом, во время каждого штурма ахейцами городских стен, она слышала лязг металла, крики умирающих, тупые удары стенобитных орудий. И вечерами смотрела, как медленно оседает в воздухе копоть от погребальных костров, и старалась постичь замысел богов, догадаться, чего *теперь* требует от нее Отец. От ее былой осанки не осталось и следа, теперь она постоянно втягивала голову в плечи, точно ожидая удара.

Она помнила, как Ахилл страшным криком, отдававшимся у всех в ушах, словно раскаты грома, вызвал Гектора и как с лязгом захлопнулись за ним ворота Трои. Тогда сильная, высокая Андромаха ударила ее наконец по лицу, и она испытала настоящее облегчение. Андромаха хлестала, повторяя: «Тварь, низкая тварь!» – пока Елена не почувствовала во рту привкус крови и пока свекровь Гекуба не оттащила Андромаху, словно предчувствовавшую свое вдовство и страшную гибель сына. Гнев Андромахи для Елены не был самым страшным.

Без особенного ужаса пережила она то, что Парис бежал с поля боя во время поединка с Менелаем. Она знала, что иного и быть не могло. И, единственная, не считала это его позором, ибо, странная женщина, любила его не за силу, а за слабость. Ее не удивило, что Парис отважился на такой самоубийственный поступок – вызвать на битву Менелая. Она

знала, что Парис не трус, просто его поступки неожиданны, в этом он очень походил на своего отца, Приама. Каждому дана своя природа, которую не может изменить ничто.

За десять лет она привыкла к ненависти троянцев и к унижениям, как горбуня привыкает к своему горбу: что бы она ни делала, она всегда находит такое положение, при котором горб не так мешает.

Но самое действительно страшное случилось с нею в тот день, когда зажгли погребальный костер Гектора. Его тело было уже полуистлевшим, обезображенным, ведь обезумевший от потери Патрокла Ахилл изо дня в день одержимо таскал труп его убийцы вокруг стен Трои за своей колесницей по раскаленному песку. Когда горел погребальный костер, и она стояла под направленными на нее стрелами и копьями ненавидящих взглядов, Парис вдруг лучезарно посмотрел на нее и почему-то спросил: «Ты иногда думаешь о своей дочке... забыл, как ее зовут? Интересно, на кого она становится больше похожа, на тебя или на Менелая?» Сказал беззлобно, без всякого умысла. Ему действительно было просто прелюбопытнейше любопытно. Вот у погребального костра Гектора и случилось с Еленой самое страшное: любовь ее к Парису кончилась. И теперь – словно оседала на головы и лиловые покрывала плакальщиц серыми хлопьями гари и пепла.

Все, что случилось потом – смерть Приама, смерть Париса, ее жестокое, публичное изнасилование братом его, Деифобом, под улюлюканье троянцев накануне падения города, – все это было уже не так страшно, как тот момент во время сожжения тела Гектора. С той минуты с ней опять случилось то отделение души от тела, которое впервые произошло на корабле Тезея. А может, это так помогал ей отец ее, Зевс?

Когда ахейцы ворвались в город, она не бросилась со стены и не покончила с собой. Она ужасно устала, ее словно гранитной плитой накрыло безразличие, ставшее еще сильнее, чем когда-то в Спарте. Ей было все равно, что произойдет. Детей у нее не было, Парис – мертв. Садист Деифоб, брат Париса, бесцеремонно взявший ее в наложницы, бил и терзал ее каждую ночь до самого падения города, мстил ей за павших родичей и товарищей, как врагу.

Она видела, как через ворота вкатили странное деревянное чудовище, как ликовали люди оттого, что ушли корабли ахейцев, как праздновали все их уход. А потом в городе началось побоище.

...Когда Менелай с мечом ворвался в ее спальню, Елена никак не могла понять, почему он медлит. Она подошла к нему без страха и остановилась как раз на расстоянии его вытянутой с мечом руки. Не слишком далеко, ибо она не стремилась избежать возмездия, и не слишком близко, чтобы не показалось, что она пытается соблазнить (ей, теперешней, трудно было бы это сделать!), – ровно настолько, чтобы встретить свою смерть в лицо и побыстрее... Подойдя к мужу, она увидела, как сильно постарел Менелай за эти десять лет, сколько седины появилось в его густых волосах и бороде, как он отяжелел. Елена посмотрела ему в глаза, потом перевела взгляд на белый мраморный пол комнаты, отстраненно вдруг представив свою покотившуюся в угол голову, кровавый след за ней. Интересно, в какой угол она покатится – в тот или в этот, под скамью или закатится под кровать? А может, Менелай сначала нанесет ей рану, но не смертельную – так, чтобы она могла его слышать? И начнет свою обличительную речь, которую наверняка сочинил за десять лет? И прикончит ее только после того, как выговорится?

Да, в последние десять лет не было дня, чтобы Менелай не представлял себе эту встречу с Еленой. И молил богов, чтобы они дали ему и ей дожить до этого момента.

Сначала он представлял себе, какие скажет ей слова перед тем, как снесет ей голову. Нет, снести голову – это слишком для нее легко. Он готовил ей страшные казни, каждый день – разные. Ведь она опозорила его перед всем миром, сделала его посмешищем на всю Элладу.

Так он думал десять лет назад, но последние несколько лет его совершенно перестали волновать мысли о себе других. И люди эти, и мысли их оказались больше не важны. Десять лет он только и делал, что убивал. И все вокруг делали то же самое. Но ночами к нему все чаще стали являться убитые им, и становились у его ложа, и молчали. Их было много, но каждый раз с ними была смуглая критянка Тера со свесившейся набок головой, и ее кривая улыбка мучила его больше всего. Чем больше убивал он троянцев, тем больше приходило их в его сны, тем ближе их ряды придвигали к его кровати Теру. Он страшился той ночи, когда она может оказаться совсем рядом... И только кувшин крепкого критского вина, который рабы всегда приносили ему теперь перед сном, помогал забыться. Стремясь убежать от кошмаров и раз и навсегда найти Елене замену, он приводил в свою постель много красивых и очень красивых женщин. Но наложницы или тихо исчезали (их пугало, как страшно кричал он во сне), или он прогонял их сам. С ним снова оставался лишь кувшин вина. И – какая-то неприкаянность. Она была бы совсем невыносима, если бы не война. Иногда ему казалось, что и другие ведут эту войну и не уходят от троянских стен только потому, что за делами войны ни им самим, ни другим не так заметна их собственная неприкаянность, которая связывает их теперь как круговая порука. Что и к остальным в ночи, наверное, приходят их собственные призраки. А винят все в этой войне – его Елену, потому что надо же кого-то винить... Но Елена тут – ни при чем. Просто эта война давно переросла и людей, и героев, и Элладу, и даже богов. Она набухла гневом, проникла всюду, заполнила собою всё. Тогда и пришли кошмары.

Менелай сжимал рукоятку меча и тяжело дышал. Только что он убил отчаянно сопротивлявшегося Деифоба. И вот его неверная Елена стояла перед ним среди троянского пожара, всеми силами стараясь хоть перед смертью высоко поднять голову. И Менелай ужаснулся, увидев, как истерзана она душевно и физически, как мало осталось от ее красоты – птичьими костями выперли ключицы, глаза превратились в два черных колодца, и – синяки на шее и руках, искусанные губы, сетки морщин вокруг глаз... Но, странно, все это ничуть не уменьшило ее притягательности, наоборот, усилило ее, словно, истаяв, ее внешнее существо обнаружило истинную, такую хрупкую, сущность.

У него защемило сердце. Он увидел ее совершенно очевидное безразличие и к заготовленным им обличительным речам, и к его казням. Она – смертельно устала. И он так хорошо понимал ее теперь! Он тоже страшно устал за эти годы и сейчас точно с таким же спокойствием стоял бы перед человеком, ворвавшимся к нему с мечом. А она вдруг почувствовала, что больше не втягивает голову в плечи – ее прежняя осанка перед смертью вернулась к ней. В его горле заклокотало, словно закипела чечевица, но он с ужасом понял, что не может сказать этой женщине ни слова. Как наивно пытался он когда-то сделать все, чтобы оградить ее от искушений и сохранить свою честь! Боги, словно насмехаясь, наказали его тем самым позором, которого он когда-то боялся! Глупец, разве это было самое страшное... Теперь боги отняли у него даже гнев, оставив только невыразимую усталость. Оглушительно загрохотал о мрамор пола отброшенный в сторону меч – Менелай бросил его, то ли боясь, что все-таки может ее убить, то ли в отчаянии от своего бессилия. Но она даже не вздрогнула, словно глухая.

Он схватил ее и прижал к себе – как исхудавшего ребенка, и вдохнул запах гари, исходящий от ее волос, и не то заревел, не то завыл. От собственной слабости и скорби. И – от счастья...

Таким стал конец Троянской войны для Елены и Менелая. Оставив за собой рухнувшие стены некогда великого города, горы трупов, обугленные остовы кораблей, могилы героев, нескончаемые гексаметры будущих аэдов, оставив витающую над развалинами Трои тысячелетнюю славу, Менелай и Елена вернулись домой, в Спарту. Летними вечерами выходили

они в яблочно-прохладный сад, во время Элевсиний приносили жертвы богам в благодарность за щедрую лозу, зимой сидели у жаркого очага и говорили о том, что нужно бы весной починить крышу, найти хорошего жениха для Гермiony, приказать сапожнику пошить новые сандалии для мальчиков, сыновей покойной Теры, и купить, наконец, в Фивах нового повара, так как теперешний совсем состарился и у него все время подгорает мясо.

Менелай и Елена были счастливы. Счастливы удручающе неэпически! Сколько так прошло лет, они не считали и не испытывали к этому своему маленькому счастью ни малейшей неприязни, словно именно для того и шла десять лет великая война, словно теперь им открылась та правда, которую не успели или не захотели познать рухнувшие на троянский песок герои... Они – просто жили. И кошмары вот уже несколько лет не нарушали их сон.

Елена даже предположить не могла, что вынуждена будет отсюда бежать.

Последнее возвращение

Теперь она подплывала к Родосу...

Однажды утром она проснулась на своем широком супружеском ложе из дерева старой оливы, откинула, стараясь не разбудить Менелая, покров. Потом села перед большим красивым кипарисовым сундуком – расчесывать совершенно побелевшие уже волосы. И вдруг подумала, что никогда и надеяться не могла на такое странное и полное счастье. Она потянулась к медному зеркалу с костяной ручкой. Наверное, она о чем-то задумалась и сделала неловкое движение, потому что зеркало выскочило из ее руки и упало. Ручка ударилась о мраморный пол и раскололась надвое. Она тревожно взглянула на мужа. Тот спокойно глядел куда-то вверх, и она не сразу поняла: Менелай видит уже не резные цветы на потолке, теперь он видит то непостижимое, что простирается за бескрайностью утреннего летнего неба.

Она зарыдала и обняла неестественно вытянувшееся тело мужа – человека, которого успела узнать и так полюбить за последние годы. Теперь у нее оставались только дети.

Зачем им эта старуха-царица? Сыновья Теры всегда помнили, что их мать была убита именно из-за Елены. И как-то раз старший, полулежа вечером на высоком обеденном ложе Менелая в трапезной зале, предложил брату отправить Елену следом за отцом. Чего проще? Оступилась, упала с лестницы – много ли ей, старой, надо? Но младший уже давно был тайно влюблен в Гермiony и сказал, что она все-таки Гермiony – мать, и потом, тогда придется похоронить ее вместе с отцом, поэтому, может, с лестницы – не стоит, а лучше выдать ее замуж за какого-нибудь старика и отправить их обоих в полуразвалившийся дом в горах, где умер когда-то Тиндарей, пусть там и доживает.

Только тут братья заметили, что ширококостная, некрасивая Гермiona стоит у двери и слушает их разговор. Лицом она была копией отца. Всеми чертами, кроме глаз. Глаза у нее были материнские.

Братья разом смолкли, а она подошла к ложу старшего близко-близко, присела перед ним, положила ему на плечи свои сильные, с короткими пальцами руки и, наклонив голову, глядя на него прекрасными Елениными глазами, сказала, что придет к нему ночью, и будет приходить столько раз, сколько он пожелает, если... Если он действительно убьет эту старую тварь. Гермiona так и не простила Елене своего одинокого детства и юности вечно холодном дворце. Брошенная на безразличных к ней слуг и рабов, неприкаянно слоняясь по приходящим в запустение коридорам дворца, она научилась ненавидеть, и теперь ей казалось, что за все десять лет, что шла война, ни разу не наступало лето. Она тихо ненавидела мать. Менелая она ни в чем не винила.

...К Елене вошла древняя рабыня – еще из тех, что служили покойному Тиндарею, когда царица была девчонкой. Рабыня сказала, что нужно бежать.

Неожиданно спокойно, лишь горько усмехаясь, Елена выслушала рассказ о разговоре ее дочери и приемных сыновей:

– Куда я побегу? И зачем?

– Нам ли с тобой не знать, как тяжела пролитая кровь, госпожа...

– Это ведь ты, Нура, рассказала Менелаю о том, что Тера помогла мне... тогда?

– Я, госпожа.

– Некуда мне бежать, Нура. Я остаюсь. Они правы. Я плохая мать и заслужила всё это.

– А разве заслужили они тяжесть твоей крови, Елена? Ведь им, неразумным, с нею потом жить и терпеть муки от черных эриний⁴⁷. Нам ли не знать, Елена, какие страшные это муки, нам ли не знать? Не искушай. Беги...

И вот она снова в море. Монотонное «И-хо!» гребцов теперь звучало почти успокаивающе и нагоняло дремоту. Юный сидонский раб с глазами, подведенными по финикийскому обычаю зеленой сурьмой, принес ей неизменную вяленую козлятину и вино. Она уже привыкла, что на нее, сорокалетнюю, мужчины смотрят с вожделением все реже. Она знала, что старость делает женщин словно бы прозрачными, невидимыми. И в этом была, наконец, защита – как в трехслойном щите Ахилла. Она потянулась за полоской мяса на блюде. И вдруг заметила, что чаша ее переполнилась, а вино, изливаясь из кувшина, темно и кроваво растекается по синему полотну скатерти. Елена подняла недоуменный взгляд на сидонца и вдруг увидела, что он, забыв о кувшине, не может оторвать глаз от ее приоткрывшейся груди.

– Я пролил вино, прости меня, прости, госпожа!..

Вскоре триера уже входила в гавань Родоса.

С самого начала Елена не знала, зачем плывет на Родос. Она думала только о том, что именно здесь была когда-то действительно счастлива – самым чистым и совершенным счастьем. И потому только здесь можно было, наконец, умереть.

Глеподем, из-за которого Поликса убила собственного отца, пал у Трои во время войны, которая началась и десять лет шла из-за нее, Елены. Так считалось и будет считаться. Но ее любовь к Менелаю началась именно с того, что он – заставил ее усомниться в своей вине. Он сказал ей, что тогда, у стен Трои, каждый из них вел свою войну. Кто – чтобы покрыть себя славой или создать невиданное царство, кто – ради богатства, женщин, кто – стремясь убежать от тусклых будней, надоевших жен, бедности, долгов, кто – чтобы доказать что-то себе или другим. А кто-то бился под троянскими стенами потому, что война хорошо помогает забыть о своей бесприютности и неприкаянности. Может быть, говоря все это, Менелай кривил душой, потому что слишком любил ее, Елену, а может быть, действительно говорил правду, но после тех слов жизнь снова показалась для нее возможной...

– Зачем ты здесь? – спросила ее постаревшая, отяжелевшая Поликса. Спросила строго и спокойно. Она стояла вся в черном, и тонкие ткани одежд обтекали ее, как вода – беременную дельфиниху.

– Мне больше некуда плыть. Возьми мой корабль и гребцов. Сделай меня своей рабыней...

– Мой муж полюбил тебя, он сватался за тебя в Спарте, а потом отплыл в Трою, на ту, твою войну. И погиб. А я убила за него своего отца. Я целый год боялась заснуть. Потому что,

⁴⁷ Эринии – в греческой мифологии уродливые старухи с волосами из змей, одетые в черное, преследующие виновных муками совести и доводящие их до сумасшествия и самоубийства.

как только засыпала, он приходил и смотрел. Но – совсем без укоризны. Слышишь, Елена, он не укорял меня, преступную дрянь, за свою смерть! Ты знаешь, как ночью эриний...

– Знаю. Я хорошо знаю эриний, и они очень хорошо знают меня. – Поликса взглянула на Елену пристально и гневно и увидела, что та говорит правду. – Но только муж твой Глеподем не знал меня и любить тоже не мог, его влекло любопытство, которое подогревали слухи обо мне. И сватался он не за меня, а за царство Тиндарея. И в Трою он отплыл не из-за меня, и ты тоже знаешь это. Он был честолобив, сородич Геракла, он знал, что богатую добычу и славу приносит только большая война.

– Я могу приказать своим рабам убить тебя – ты принесла столько горя людям, – произнесла Поликса, но произнесла как-то неуверенно.

– Ты правильно сделаешь, – неожиданно твердо сказала Елена. – Но только перед этим дай мне выспаться. И обещай: утром мы пойдем в бухту Звучащих Раковин. А потом, *там* – убивай. Меня столько уже раз должны были убить, что удивительно, как это я до сих пор еще дышу.

– Бухта Звучащих Раковин? О чем ты? На Родосе нет такой бухты.

Елена приблизилась к Поликсе и положила руку на ее плечо. Та не сбросила ее руки.

– Неужели ты не помнишь? Есть... Она здесь, и больше – нигде!

...Утром в гавань Родоса медленно вошла еще одна черная спартанская галера. У ее мачты стояли двое знатных юношей в богатых доспехах и небольшого роста молодая женщина – некрасивая, но с прекрасными глазами. Увидев в той же бухте корабль Елены, они обменялись многозначительными взглядами.

А в это время две немолодые женщины во вдовьих одеждах продирались, тяжело дыша, сквозь заросли ежевики. Они исцарапались и растрепались, потеряли свои покрывала, но наконец им открылась та давно забытая всеми бухта.

Горячий песок приятно грел, не обжигал. Елена и Поликса сбросили сандалии и погрузили в него ноги. Вдруг тишину нарушил стрекот дельфинов. Женщины переглянулись, пошли к воде, сели у самой кромки. Меловое дно разголублило бухту до удивительно чистого тона. Все в мире изменилось, но только не этот песок, не эта вода. Не было больше рабынь с белыми полотнами, не было красных кувшинов. Но бухта осталась прежней. Долгие годы она возвращалась в память как Счастье и наконец – вернулась наяву.

Ушли все муки, старость и боль. Остались где-то за зарослями ежевики десятилетняя война, уродливые эринии, вся злая память прожитых лет. В мире для Елены и Поликсы снова были только нагретый песок и стрекот дельфинов. И – большие пустые раковины, в непостижимом чреве которых продолжало рокотать *немолчношумящее море*.

Британия: женщина на колеснице



«Veni, vidi...»

В конце лета 698 года от основания Вечного города⁴⁸ римляне впервые увидели еще не известный цивилизованному миру остров. Пришли они на него, по своему обыкновению, легионом. Точнее, двумя. У их предводителя уже наметилась ранняя лысина, у него были тонкие пальцы и развитые бицепсы. И его отличал пронзительный взгляд серых глаз... Звали предводителя Юлий Цезарь, и отнюдь не праздное любопытство привело его сюда...

⁴⁸ 55 г. до н. э.

В наскоро разбитом лагере жгли костры, жарили мясо. Палатки легионеров и шатры легатов⁴⁹ светились в сгустившейся непроглядной тьме.

В шатре Цезаря пахло разогретым оливковым маслом светильников, снаружи доносились зловещие крики потревоженных чаек. Над ухом гудел комар. Полководец хлопнул себя по мощной загорелой шее, по груди. За вечер его шерстяная туника вся покрылась кровавыми пятнами. Цезарь продолжил диктовку. Он говорил быстро, словно и не диктовал вовсе, но опытный писец, тщедушный черноволосый грек, с невероятной скоростью покрывал гладкий египетский папирус буквами. За годы войны Цезарь уже продиктовал четыре главы о Галлии. Эта, пятая, будет о новой, только что обнаруженной им земле на краю света.

Цезарь прекратил диктовать и погрузился в свои мысли.

Губы писца зашевелились, он перечитывал вслух только что написанное:

– ...cum hae perexiguo intermisso loci spatio inter se constitissent, novo genere pugnae perterritis nostris per medios audacissime perruperunt seque inde incolumes receperunt.⁵⁰

Цезарь об этом и думал. Он уже давно считал, что уж чем-чем, а тактикой боя его никто не сможет удивить. «Veni, vidi, vici...»⁵¹ Но туземцы этого острова показали сегодня нечто крайне любопытное. И неприятное...

Настроение легионеров было подавленным. Из освещенной палатки лекарей доносились стоны – после вчерашнего боя было много раненых. Неподалеку, прямо на гальке, рядами лежали с медяками на глазах те, кому не суждено уже было увидеть родное небо. Зорко вглядывались во враждебную темноту часовые. И перекликались, словно охрипшие птицы: «Vigil! Vigil!»⁵²

До этого он месяц преследовал по Галлии мятежное племя белгов и, наконец, совершенно оттеснил их к северному побережью. Дальше начиналось неведомое море, которое карты называли Oceanus Britannicus и за которым, как говорили, находился конец мира. Поэтому Цезарь был уверен, что теперь-то белги у него в руках – деваться им некуда. И спешить не стал – дал своему войску отдохнуть, чтобы назавтра, с новыми силами, покончить с мятежниками...

Однако поутру там, где, по всем расчетам, должны были находиться белги, оказались только догорающие костры и остатки пожитков. Варвары как сквозь землю провалились.

А вскоре, тоже притиснутое к этому побережью, так же таинственно исчезло другое мятежное галльское племя – паризиев.

⁴⁹ *Legat* – командир легиона.

⁵⁰ «...но так как невиданные боевые приемы врага привели наших в полное замешательство, то неприятели с чрезвычайной отвагой прорвались сквозь них и отступили без потерь» (*лат.*).

⁵¹ «Пришел, увидел, победил...» (*лат.*) – выражение, приписываемое Цезарю.

⁵² *Vigil! Vigil!* – «Дозор! Дозор!» (*Лат.*).



Гай Юлий Цезарь

Цезарь чувствовал раздражение, странно смешанное с любопытством: не друиды⁵³ же их заколдовали!

Не друиды. Вскоре стало ясно, что все они бежали, явно не без чьей-то помощи, через море – в ту землю, что лежит на север от Галлии. Карты называли эту землю – Britannia⁵⁴. Никто ничего толком об этой земле не знал. Лояльные римлянам галльские вожди говорили, что это большой остров и что населен он не людьми, а дьяволами – с красными глазами и синей кожей, что прямо там начинается ледяное царство бога мертвых, «вроде вашего Плутона». Цезарь же сильно подозревал, что все это говорится неспроста, и этот «Плутон», судя по всему, занимается активным содействием галльскому сопротивлению.

И вот, когда в морском тумане необъяснимо исчезли два враждебных римлянам племени, чтобы, возможно, зализать раны и со свежими силами вернуться на театр его «*de bello Gallico*»⁵⁵, Цезарь решил не слушать больше всякую противоречивую информацию и сказки о Плутоне, а лучше один раз – увидеть.

...Бледные после жесточайшего ночного шторма legionеры смотрели, как с каждым погружением весел их бирем⁵⁶ на горизонте медленно вырастают белые, словно покрытые снегом, утесы. Подойдя ближе, они увидели, что их – встречают, да еще как! Цезарь сразу понял, что высадка будет трудной: у туземцев было преимущество высоты. И – численности войска: их было раз в десять больше, чем римлян. Даже бывалые центурионы смотрели тревожно и орали команды на палубах громче обычного, явно стараясь заглушить беспокойство, чтобы не сказать – страх. Все понимали, что занесла их нелегкая туда, куда ни одного римлянина еще не заносила. Здесь действительно был конец света. Многих до сих пор мутило от штормового перехода, и то один, то другой легионер, поскользываясь на заблеванной палубе, богохульственно поминал известные органы Юноны.

В своей экспедиции к берегам Британии Цезарь не учел многого. Не снарядил достаточно транспортных кораблей с провизией и фуражом, да и отплытие назначил на конец августа, к тому же на полнолуние – время, когда здесь особенно сильны штормы и высоки

⁵³ Друиды – жрецы или волхвы у древних кельтов.

⁵⁴ Уже потом римляне назовут Британию «Альбион» (от *albico*, «белый») – по цвету ее белоснежных меловых обрывов.

⁵⁵ Галльской войны (лат.). «Галльская война» – также название мемуаров Цезаря, изданных на русском языке как «Записки о Галльской войне».

⁵⁶ Галера с двумя рядами весел по каждому борту.

приливы. Римляне вообще мало знали о северных приливах, каких в Средиземноморье не бывает. Римляне были великолепными пехотинцами, средними конниками и, за пределами своего *mare nostra*⁵⁷, весьма посредственными морями.

Совершенно синие туземцы без всяких лат и шлемов, голые по пояс, лихо гарцевали по берегу на небольших лошадях, демонстрировали виртуозное владение своими необыкновенно маневренными колесницами, которые чудом могли останавливать на всем скаку. Их было множество, этих колесниц. «Пехота» кельтов угрожающе размахивала мечами и копьями. Даже издали было видно, как высоки эти варвары по сравнению с римлянами. Дикари завывали, визжали, улюлюкали, трубили в необычно низкого звука рога. Этот звук вызывал чувство безотчетной тревоги, у галлов на материке таких боевых рогов не было.

Первой высадку должна была начать когорта батавийцев. Эти здоровенные германские наемники специализировались в римской армии на переправах верхом и в полном вооружении через водные преграды. И они были единственным уцелевшим отрядом кавалерии: свирепый ночной шторм в Океане Британникус так изломал галеры с основной конницей, что им с полпути пришлось вернуться обратно в Порт Итиус.

А коней батавийской когорты испугала какофония на берегу – они нервно ржали, сбившись на середине палубы, и боялись приближаться к борту. Пешими идти вперед батавийцы суеверно отказывались. Легионеры Седьмого и даже Десятого легиона – легиона самого Цезаря, тоже малодушно медлили с высадкой.

И тогда – кто бы мог подумать! – новобранец из Лигурии, *aquilifer*⁵⁸ Десятого, с отчаянным мальчишеским криком первым прыгнул с борта в воду. В его руке был «орел». Реакция солдат оказалась автоматической: штандарт ни в коем случае не должен оказаться у врага, это священное правило центурионы прочно вбили в легионерские головы, и сейчас оно оказалось сильнее инстинкта самосохранения. Легионеры ринулись в воду. Только тогда за ними последовали и пешие батавийцы. В улюлюканье кельтов ворвался и рос, все больше набирая силу, рев: «*Roma Victrix!*» – «Рим Победитель!».

Белесая вода краснела на глазах. Синие голые черти топтали конями неповоротливых пеших римлян, а те, стоя в воде, отчаянно старались сохранить строй и противостоять непредсказуемым маневрам. Ржание коней, лязг железа, улюлюканье туземцев, вопли боли...

Синиль⁵⁹ кельтов постепенно смывалась соленой водой, и римляне увидели, что никакие они не порождения Царства мертвых, а обыкновенные белокожие дикари, такие же, что и галлы. Воодушевившись открытием, легионеры усилили натиск и вытеснили кельтов на берег. Спасение было в том, чтобы как можно скорее сомкнуть щиты и построиться в знаменитые «черепашки» – неприступные мобильные крепости. Но кельты, словно разгадав это намерение, никак не давали им этого сделать, навязывали свою тактику хаотичного боя – сражаясь небольшими группами, отвлекая легионеров все дальше друг от друга.

Внезапно какофонию боя разрезал пронзительный визг – словно вопль агонии какой-то гигантской самки. На подмогу своим неслась еще одна конная волна «синих».

На палубе флагманской триремы легат Квинт Титурий Сабин, не веря своим глазам, повернулся к Цезарю: «Что это?»

Римляне на миг замерли: на берег вылетели жуткие синие... гарпии. Это действительно были женщины! Волосы – завязаны на затылке, груди – туго перетянуты широкими кожаными лентами. Они ловко направляли коней и точными ударами широких мечей сно-

⁵⁷ *Mare nostra* – «наше море» (лат.). Имеется в виду Средиземное море.

⁵⁸ *Aquilifer* – «знаменосец» (лат.).

⁵⁹ Синий краситель, изготавливаемый из растения вайды.

сили одну оторопевшую солдатскую голову за другой. Каждая из воительниц была гораздо выше любого из римлян и повыше иных батавийцев. Они визжали, в раздираемых криком ртах – зубы острые, словно специально заточенные.

Их атака казалась беспорядочной, но Цезарь вскоре начал понимать, что этот хаос хорошо скоординирован: женщины сражаются парами, у каждой в бою – своя роль. Одна прыгала с лошади на спину легионера и делала его совершенно беспомощным – он не мог освободиться от мускулистой амазонки, а другая тем временем наносила смертельный удар. Они продолжали драться даже будучи ранеными и словно не чувствовали боли. Цезарь видел, как одна из воительниц обломила попавшую ей в предплечье стрелу и ринулась в бой как ни в чем не бывало. Он понял, что эти туземцы, как и галлы, пьют перед боем ритуальный напиток друидов из омелы, который действует совсем иначе, чем вино, – не дурманит голову, а делает человека нечувствительным к боли. Вот только ни один проклятый друид, даже под пытками, так и не открыл секрет этого «стратегического» зелья.



Два друида (барельеф, найденный в г. Отун, Франция)

Цезарь решил отступить и, учтя все ошибки и неожиданности первой попытки, возобновить атаку. Только перед наступлением темноты римлянам удалось наконец отбить берег под меловыми утесами.

...В лагере, разбитом с профессиональной быстротой, легионеры устроили тризну по павшим товарищам. Деревя для погребального костра взять было негде, потому павших просто зарывали поглубже в эту чужую холодную землю, засыпая галькой и песком. Огромный легионер, грубо расталкивая всех вокруг и не скрывая слез, по-матерински бережно нес тело мальчишки «орлоносца» – его голова безжизненно моталась, на шее темнела безобразная рана. Это могли быть только следы зубов...

Так цивилизованный мир впервые встретился с Британией. А Британия – с цивилизованным миром.

Еще от греческих навигаторов, которые куда только ни заплывали, пошло название этого острова *Pretannia*, а его жителей – *pretani*, то есть крашенные, а еще *keltoi* – «странные люди», как греки называли вообще все малоизвестные им народы. Оттуда и пошло «кельты» – название всех народов, населявших тогда земли от Дуная до Иберии. Такое общее название было удобно: диких племен много, кто их разберет, а так «кельты» – и все⁶⁰. Римляне, познакомившиеся с этими народами поближе, стали различать их

⁶⁰ Практика, распространенная во все времена. Так в Европе всех выходцев из бывшего СССР независимо от национальности нередко называют русскими, а в России всех британцев – англичанами, хотя ирландцы, шотландцы, корнуэльцы и валлийцы, в отличие от пришедших позднее германских племен англов, саксов и ютов, являются потомками коренных британцев – кельтов.

чуть получше, но с имперским высокомерием тоже особенно не затрудняли себя запоминанием всех их многочисленных названий.

«Визит» Цезаря в Британию был недолгим. Римляне проникли вглубь страны не более чем на восемьдесят миль и достигли широкой реки, которую местное племя – кантии – называло что-то вроде «Тамес». Реку сегодня зовут Темза, землю кантиев – графством Кент.

Столкновения с «местными» случались часто, особенно когда легионеры пытались раздобыть провизии для обратной дороги, но все-таки настоящим вторжением это назвать было нельзя. И узнали об этой земле римляне тоже, в общем, немного. Правда, водяные часы, чудо древнеримской инженерии, которые Цезарь всюду возил с собой, показали, что в этой странной земле световой день – существенно длиннее, чем в Галлии.

Таким образом, применительно к Британии, Цезарю удалось «прийти» и «увидеть», но пока не «победить».

Год спустя Цезарь мобилизовал для завоевательной экспедиции уже более серьезные силы: более 800 галер, а на них – пять легионов численностью 25 тысяч человек, да наемных кавалерийских когорт паннонийцев и батавийцев – еще несколько тысяч.

На этот раз гигантское войско встречал совершенно пустынный, словно вымерший берег. Воины воспрянули духом, решив, что варвары, увидев силы римлян, благоразумно решили отдать им землю без боя, но Цезарь ни минуты не разделял этого заблуждения. Он понимал, что их заманивают в западню.

Так оно и вышло. Бритты поджидали римлян в кантийских дубравах. Их атаки были молниеносны и слаженны. Они появлялись неожиданно и так же неожиданно исчезали в лесу, словно призраки.

Дело осложнялось еще и тем, что раздобыть хлеба и фуража для войска римлянам было невозможно, бритты позаботились об этом! Легионеры шли по черным, еще дымившимся полям. Деревни были пусты. Армия начала голодать. И тут из дуврского лагеря на берегу к Цезарю прискакал гонец с плохой вестью: необыкновенно высокий прилив сорвал корабли с якорей, и многие из них затонули, протаранив друг друга, а на остальных – совершенно поломаны снасти. Опять не учли римляне силы северных приливов, поставив корабли на якорную стоянку слишком близко один от другого... В голодном войске назревал бунт. И Цезарь, взвесив все обстоятельства, решил немедленно возвращаться на уцелевших галерах в Галлию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.